

КО
Н
ЕЦ
СЮЖ
ЕТ
В

Людмила
Улицкая

Людмила Улицкая

**Конец сюжетов: Зеленый
шатер. Первые и последние.
Сквозная линия (сборник)**

«Издательство АСТ»

2013

Улицкая Л. Е.

Конец сюжетов: Зеленый шатер. Первые и последние. Сквозная линия (сборник) / Л. Е. Улицкая — «Издательство АСТ», 2013

ISBN 978-5-17-078665-7

В сборник прозы Людмилы Улицкой «Конец сюжетов» вошли роман «Зеленый шатер», повесть «Сквозная линия» и цикл рассказов «Первые и последние».

ISBN 978-5-17-078665-7

© Улицкая Л. Е., 2013

© Издательство АСТ, 2013

Содержание

Зеленый шатер	5
Пролог	5
Школьные годы чудесные...	7
Новый учитель	21
Дети подземелья	35
«Люрсы»	40
Последний бал	54
Дружба Народов	61
Зеленый шатер	66
Отставная любовь	84
Все сироты	88
Свадьба короля Артура	94
Маловатенькие сапоги	106
Высокий регистр	109
Конец ознакомительного фрагмента.	113

Людмила Улицкая

Конец сюжетов (сборник)

Зеленый шатер

Не утешайтесь неправотою времени. Его нравственная неправота не делает еще нас правыми, его бесчеловечности недостаточно, чтобы, не соглашаясь с ним, тем ужасе и быть человеком.

Б. Пастернак – В. Шаламову

9 июля 1952 года

Пролог

Тамара сидела перед тарелкой с жидкой яичницей и ела, еще досматривая сон.

Мама Раиса Ильинична нежнейшим движением проталкивала редкий гребень сквозь ее волосы, стараясь не слишком драть этот живой войлок.

Радио извергало торжественную музыку, но не слишком громкую: за перегородкой спала бабушка. Потом музыка умолкла. Пауза была слишком длинна, и как-то неспроста. Потом раздался всем известный голос:

– Внимание! Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Передаем правительственное сообщение...

Гребень замер в Тамариных волосах, а сама она сразу проснулась, проглотила яичницу и хрипловатым утренним голосом проговорила:

– Мам, наверное, какая-нибудь простуда ерундовая, а сразу на всю страну...

Договорить ей не удалось, так как неожиданно Раиса Ильинична дернула что было силы за гребень, голова Тамары резко откинулась, и она клацнула зубами.

– Молчи, – прошипела сдавленным голосом Раиса Ильинична.

В дверях стояла бабушка в древнем, как Великая Китайская стена, халате. Она выслушала радиосообщение со светлым лицом и сказала:

– Раечка, ты купи в «Елисейском» чего-нибудь сладкого. Сегодня, между прочим, Пурим. Я так думаю, что Самех сдох.

Тамара не знала тогда, что такое Пурим, почему надо покупать что-нибудь сладкое и тем более кто такой Самех, который сдох. Да и откуда ей было знать, что для конспирации Сталина и Ленина в их семье с давних пор называли по первой букве их партийных кличек, «с» и «л», да и то на потаенном древнем языке – «самех» и «ламед».

Тем временем любимый голос страны сообщил, что болезнь вовсе не насморк.

* * *

Галя уже натянула форму и теперь искала фартук. Куда задевала? Полезла под топчан – не завалился ли туда?

Вдруг мать ворвалась с кухни с ножом в одной руке и картофелиной в другой. Она выла не своим голосом, так что Галя подумала, что мать руку порезала. Но крови видно не было.

Отец, тяжелый по утрам, оторвал голову от подушки:

– Что орешь, Нинка? Что орешь с утра пораньше?

Но мать выла все громче, и слов было почти не разобрать в ее обрывчатых воплях:

- Умер! Что спишь, дурак? Вставай! Сталин умер!
 - Объявили, что ли? – отец приподнял большую голову с прилипшим ко лбу чубом.
 - Сказали, заболел. Но помер он, вот те крест, помер! Чует мое сердце!
- Дальше шли опять невнятные вопли, среди которых прорезался драматический вопрос:
- Ой-ой-ой! И что теперь будет? Что будет теперь со всеми нами? Будет-то что?
- Отец, поморщившись, грубо сказал:
- Ну что ты воешь, дура? Что воешь? Хуже не будет!
- Галя вытащила наконец фартук – он и точно завалился под топчан.
- А пусть мятый – не буду гладить! – решила она.

* * *

К утру температура спала, и Оля заснула хорошим сном – без поту и без кашля. И спала почти до обеда. Проснулась, потому что в комнату вошла мать и произнесла громким торжественным голосом:

- Ольга, вставай! Случилось несчастье!

Не открыв еще глаз, еще спасаясь в подушке в надежде, что это сон, но уже ощущая ужасный стук в горле, Оля подумала: «Война! Фашисты напали! Началась война!»

- Ольга, вставай!

Какая беда! Фашистские полчища топчут нашу священную землю, и все пойдут на фронт, а ее не возьмут...

- Сталин умер!

Сердце еще колотилось в горле, но глаза она не открывала: слава богу, не война. А когда война начнется, она уже будет взрослой, и тогда ее возьмут. И она накрыла голову одеялом, пробормотала сквозь сон: «И тогда меня возьмут», – и уснула с хорошей мыслью.

Мать оставила ее в покое.

Школьные годы чудесные...

Интересно проследить траекторию движения, приводящего к неминуемой встрече предназначенных друг другу людей. Иногда такая встреча происходит как будто без особых усилий судьбы, без хитроумной подготовки сюжета, следуя естественному ходу событий, – скажем, люди живут в одном дворе или ходят в одну школу.

Эти трое мальчишек вместе учились. Илья и Саня – с первого класса. Миха попал к ним позже. В той иерархии, которая выстраивается самопроизвольно в каждой стае, все трое занимали самые низкие позиции – благодаря полнейшей непригодности ни к драке, ни к жестокости. Илья был длинным и тощим, руки и ноги торчали из коротких рукавов и штанин. К тому же не было гвоздя и железяки, которые не вырвали бы клочок из его одежды. Его мать, одинокая и унылая Мария Федоровна, из сил выбивалась, чтобы наставить кривые заплаты совершенно кривыми руками. Искусство шитья ей не давалось. Илья, всегда одетый хуже других, тоже плохо одетых ребят, постоянно паясничал и насмешничал, делал представление из своей бедности, и это был высокий способ ее преодоления.

Санино положение было худшим. Зависть и отвращение вызывали у одноклассников курточка на молнии, девичьи ресницы, раздражающая миловидность лица и полотняные салфетки, в которые был завернут домашний бутерброд. К тому же он учился играть на пианино, и многие видели, как он с бабушкой в одной руке и нотной папкой в другой следовал по улице Чернышевского, бывшей и будущей Покровке, в музыкальную школу имени Игумнова – иногда даже в дни своих многочисленных не тяжелых, но затяжных болезней. Бабушка – сплошной профиль – ставила впереди себя тонкие ноги, как цирковая лошадь, и мерно покачивала при ходьбе головой. Саня шел сбоку и чуть сзади, как полагается груму.

В музыкальной школе, не то что в общеобразовательной, Саней восхищались – уже во втором классе на экзамене он играл такого Грига, которого не каждый пятиклассник мог осилить. Умилению способствовал и малый рост исполнителя: в восемь лет его принимали за дошкольника, а в двенадцать – за восьмилетнего. В общеобразовательной школе по той же самой причине у Сани было прозвище Гном. И никакого умиления – одни злые насмешки. Илью Саня сознательно избегал: не столько из-за автоматического ехидства, специально на Саню не направленного, но время от времени задевающего, сколько из-за унижительной разницы в росте.

Соединил Илью и Саню Миха, когда появился в пятом классе, вызвав общий восторг: он был идеальной мишенью для всякого неленивого – классическим рыжим. Наголо стриженная голова, отливающий красным золотом кривой чубчик, прозрачные малиновые уши парусами, торчком стоящие на неправильном месте головы, как-то слишком близко к щекам, белизна и веснушчатость, даже глаза с оранжевым переливом. К тому же – очкарик и еврей.

Первый раз Мihu поколотили уже первого сентября – несильно и назидательно – на большой перемене в уборной. И даже не сами Мурыгин и Мутюкин – те не снизошли, – а их подпевалы и подвывалы. Миха стойчески принял свою дозу, открыл портфель, достал платок, чтобы стереть выбежавшие сопли, и тут из портфеля высунулся котенок. Котенка отобрали и стали перекидывать из рук в руки. Зашедший в этот момент Илья – самый высокий в классе! – поймал котенка над головами волейболистов, и прозвеневший звонок прервал это интересное занятие.

Входя в класс, Илья сунул котенка подвернувшемуся Сане, и тот спрятал его в свой портфель.

На последней перемене главные враги рода человеческого, имена которых, Мурыгин и Мутюкин, послужат основой для будущей филологической игры и по многим причинам стоят упоминания, котенка немного поискали, но вскоре забыли. После четвертого урока всех отпу-

стили, и мальчишки с гиком и воем рванулись вон из школы, оставив этих троих без внимания в пустом классе, уставленном пестрыми астрами.

Саня вытащил полузадохшегося котенка и протянул Илье. Тот передал его Михе. Саня улыбнулся Илье, Илья – Михе, Миха – Сане.

– Я стихотворение написал. Про него, – застенчиво сказал Миха. – Вот.

Он был красив среди котов
И к смерти был почти готов,
Илья его от смерти спас,
И с нами он теперь сейчас.

– Ну, ничего. Не Пушкин, конечно, – прокомментировал Илья.

– «Теперь сейчас» не может быть, – заметил Саня, и Миха самокритично согласился:

– Да, точно. И с нами он сейчас. Без «теперь» звучит лучше!

Миха подробно рассказал, как утром, по дороге в школу, вытащил бедолагу-котенка почти из самой пасти собаки, которая собиралась его загрызть. Но отнести его домой он не мог, потому что тетя, у которой он жил с прошлого понедельника, еще неизвестно как бы к этому отнеслась.

Саня гладил котенка по спинке и вздыхал:

– Я не могу его взять, у нас дома кот. Ему точно не понравится.

– Ладно, я его возьму. – И Илья небрежно перехватил котенка.

– И дома – ничего? – поинтересовался Саня.

Илья усмехнулся:

– Дома как я скажу, так и будет. У нас с матерью нормальные отношения. Она меня слушает.

«Он совсем взрослый, я никогда таким не стану, я даже не смогу выговорить: “У нас с матерью нормальные отношения”. Все правильно: я – маменькин сынок. Хотя и меня моя мама слушает. И бабушка слушает. О, больше чем слушает! Но все равно это по-другому», – опечалился Саня.

Он смотрел на костлявые руки Ильи в желтых и темных пятнах, в ссадинах. Длинные пальцы, две октавы возьмет такими пальцами. Миха пристраивал тем временем котенка у себя на голове, на рыжем плюшевом чубчике, оставленном вчера «на развод» великодушным парикмахером у Покровских ворот. Котенок скатывался, Миха все усаживал его на темечко.

Они вышли из школы втроем. Котенка покормили растаявшим мороженым. У Сани были деньги. Их хватило на четыре порции. Как выяснилось позже, у Сани почти всегда были деньги... Первый раз в жизни Саня ел мороженое на улице прямо из пачки: когда бабушка покупала мороженое, его несли домой, клали оседающей горкой в стеклянную вазочку на низкой ножке, сверху капали вишневым вареньем – и только так!

Илья с воодушевлением рассказал, какой фотоаппарат он купит себе на первые заработанные деньги, а заодно изложил план, как именно эти деньги можно заработать.

Саня ни с того ни с сего вдруг открыл свою тайну – руки у него маленькие, «непанистические», и это для исполнителя большой недостаток.

Миха, обживавший новую – третью по счету – родственную семью за последние семь лет, сообщил этим почти незнакомым мальчишкам, что родственники уже кончаются, и если эта тетка его у себя держать не станет, то придется опять в детский дом идти...

Новая тетка, Геня, была женщина слабая. У нее не было какой-то определенной болезни; скорбно и значительно она говорила про себя: «Я вся больная» – и постоянно жаловалась на боли в ногах, в спине, в груди и в почках. Кроме того, у нее была дочь-инвалид, что тоже плохо отражалось на ее здоровье. Всякая работа была ей тяжела, и в конце концов семья решила,

что сироту-племянника поселят у нее, а ей будут собирать по родне деньги на его содержание. Миха, как ни крути, был сыном их погибшего на войне брата.

Мальчишки брели и болтали, болтали и брели, а потом остановились возле Яузы, замолчали. Почувствовали одновременно – как хорошо: доверие, дружество, равноправие. И мысли нет, кто главней, напротив, все друг другу равно интересны. А про Сашу с Ником, про клятву на Воробьевых горах они еще не знали, даже начитанный Саня Герцена еще не открывал. Да и гнилые эти места – Хитровка, Гончары, Котельники – столетиями считались самыми вонючими в городе и не созданы были для романтических клятв. Но что-то важное произошло: такая сцепка между людьми возможна только в юном возрасте. Крючок впивается в самое сердце, и нить, связывающая людей детской дружбой, не прерывается всю жизнь.

Спустя некоторое время этот союз сердец после долгих споров, отвергнув «Троицу» и «Трио», они назовут напыщенно: «Трианон». Они ничего не знали о разделе Австро-Венгрии, слово было выбрано за красоту.

Этот «Трианон» через двадцать лет промелькнет в тягостной беседе Ильи с сотрудником госбезопасности высокого ранга, но так и не установленного чина, и с не вполне достоверным именем, Анатолием Александровичем Чибиковым. Даже самые ушлые из всей гэбэшной банды борцы с диссидентами тех лет постеснялись провести «Трианон» как молодежную антисоветскую организацию.

Надо отдать должное Илье: с появлением первого фотоаппарата он стал создавать настоящий фотоархив, который полностью сохранился до наших дней. Правда, на первой папке школьных лет стояло другое название, не менее загадочное, чем «Трианон», – «Люрсы».

Итак, соединил мальчиков – и это было впоследствии документировано – не высокий идеал свободы, ради которого следовало либо немедленно пожертвовать жизнью, либо, что более скучно, всю жизнь год за годом отдавать на служение неблагодарному народу, как это произошло с Сашей и Ником за сто с лишним лет до того, – а чахлый котенок, которому не суждено было пережить потрясений первого сентября 1951 года. Бедняга скончался спустя два дня на руках Ильи и был похоронен тайно, но торжественно под садовой скамьей во дворе дома № 22 по улице Покровка (в те времена Чернышевского, тоже потратившего свою жизнь на благородные идеи). Дом когда-то имел прозвище «комод», но из теперешних его обитателей мало кто об этом мог быть наслышан.

Котик покоился под садовой скамейкой, на которой сживал некогда – предположительно – юный Пушкин со своими кузинами, забавляя их складными стишками. Санина бабушка постоянно напоминала: дом, в котором они живут, знавал лучшие времена.

Удивительным образом в классе довольно быстро – через две недели или через месяц – что-то поменялось. Миха, конечно, не почувствовал, откуда ему знать, как было раньше, он был новичок. А Саня с Ильей ощутили: в классе они по-прежнему располагались в самом низу иерархии, но теперь не поодиночке, а совокупно. И стали они, таким образом, признанным меньшинством по тому самому неопределенному признаку, из-за которого они не могли влиться в общую среду малого мира. Два вождя, Мутюкин и Мурыгин, держали всех остальных в руках, а когда ссорились между собой, то и класс разделялся на две враждующие партии, к которым изгой никогда не примыкали, да их и не приняли бы. Тогда происходили веселые, злобные, с кровяной и без, потасовки, и все про них забывали. А потом, когда Мутюкин и Мурыгин мирились, опять начинали замечать этих непарных, некомпанейских чужаков, которых избить как следует труда не составляло, но интереснее было держать их в страхе и беспокойстве и постоянно напоминать, кто здесь главный: еврей-очкарик, музыкант, школьный шут или «нормальные ребята», как Мутюкин и Мурыгин.

В пятом классе началась средняя школа, и теперь вместо единственной на всю грамматику и арифметику Натальи Ивановны, доброй тетеньки, научившей азбуке даже Мутюкина и

Мурыгина, которых она звала ласково Толенькой и Славочкой, появились предметники: математик, русичка, ботаничка, историчка, немка и географ.

Предметники были помешаны каждый на своем предмете, задавали большие домашние задания, и «нормальные ребята» явно не управлялись. Илья, который в начальной школе никак не блистал, подтянулся в окружении новых друзей, и к концу второй четверти, то есть к Новому году, обнаружилось, что низкосортные очкарики и слабаки здорово учатся, а Мутюкин с Мурыгиным еле тянут. Конфликт, который взрослые люди называли бы социальным, обострялся, приобретал более осознанный характер, по крайней мере со стороны притесняемого «меньшинства». Именно тогда Илья впервые ввел термин, который сохранился в их компании на долгие годы, – «мутюки и мурыги». Это был почти синоним знаменитым «совкам» более позднего времени, но прелесть была в его рукотворности.

Наибольшее раздражение у «мутюг и мурыг» вызывал Миха, ему больше всех доставалось, но он, с детдомовским опытом, легко переносил школьные побои, никогда не жаловался, встряхивался, подбирал шапку и улепетывал под улюлюканье врагов. Илья с успехом паясничал, так что ему часто удавалось сбить врагов с толку насмешкой или поразить неожиданной выходкой. Саня оказался наиболее чувствительным. Впрочем, именно эта неприличная чувствительность послужила в конце концов ему защитой. Однажды, когда Саня мыл руки над раковиной в школьном сортире – помеси парламента и воровской сходки, – Мутюкин проникся глубоким отвращением к этому невинному занятию и предложил Сане вымыть заодно и рожу. Саня, отчасти из миролюбия, но отчасти из трусости, умылся, и тогда Мутюкин взял половую тряпку и вытер ею Саню мокрое лицо. К этому времени их уже окружало кольцо любопытствующих: ожидали развлечения. Но развлечения не вышло. Саня затрясся, побледнел и, потеряв сознание, упал на кафельный пол. Жалкий противник был, конечно, повержен, но каким-то неудовлетворительным образом. Он лежал на полу в странной позе, весь запрокинувшись. Мурыгин тихонько попихал его ногой в бок, просто проверить, чего тот лежит без движения. Позвал его вполне незлобиво:

– Эй, Санек, чего разлегся-то?

Мутюкин очумело смотрел на бездвижного Саню.

Но Саня глаз не открывал, невзирая на бодрящие тычки. Тут в уборную вошел Миха, взглянул на немую картину и понесся к школьному врачу. Понюшка нашатыря вернула Саню к жизни, физкультурник отнес его в медицинский кабинет. Врачиха измерила Саню давление.

– Как ты себя чувствуешь? – спросила она.

Он ответил, что вполне удовлетворительно, но не сразу вспомнил, что произошло. А когда вспомнил грязную тряпку, которой возили по лицу, его затошнило. Он попросил мыла, тщательно умылся. Врачиха хотела вызвать родителей. Саня не без труда уговорил ее не звонить. Мама все равно была на работе, а бабушку он оберегал от неприятностей. Илья вызвался сопровождать ослабевшего друга домой, и врачиха дала записку, что отпускает их с урока.

Санин статус с этого дня, как ни странно, повысился. Его, правда, звали теперь «Гном припадочный», но задирать перестали: а ну как снова грохнется в обморок?

Тридцать первого декабря школу распустили, начались зимние каникулы, одиннадцать дней счастья. Миха запомнил каждый из этих дней в отдельности. На Новый год ему подарили сказочный подарок. После секретных переговоров с сыном, получив от него заверения, что его потомство отказывается от этой части семейного наследства, а сам он не возражает, тетя Геня вручила Михе коньки.

Это был американский, давно вышедший из употребления гибрид, нечто среднее между «снегурками» и «гагами», с двойными полозьями, зазубренным носком. Коньки были приделаны к разбитым ботинкам бывшего красного цвета крупными звездчатыми клепками. На металлической пластине, соединяющей лезвия с ботинками, можно было прочесть “Einstein”

и ряд непонятных цифр и букв... Ботинки были сильно биты предшествующим хозяином, но сами лезвия блестели как новенькие.

Тетя Геня относилась к конькам как к семейной реликвии. В других семьях относились так к бабушкиным бриллиантам.

Бриллианты в истории этих коньков тоже косвенным образом присутствовали. В 1919 году старшего брата тети Гени Самуила сам Ленин послал в США для организации Американской коммунистической партии. Самуил весь остаток жизни гордился этой миссией и рассказывал в деталях о своей поездке близким родственникам и близким друзьям, которых было несколько сотен, пока не был арестован в тридцать седьмом. Он получил десять лет без права переписки и исчез навеки, но его великая история стала семейной легендой.

В июле девятнадцатого года кружным путем Самуил доехал из Москвы через Северную Европу до Нью-Йорка и ступил на пирс как матрос, прибывший на торговом судне из Голландии. Он сошел по трапу, грохоча каблуками ботинок, пошитых кремлевским сапожником, с замураванным в каблуке огромной стоимости бриллиантом. Он выполнил задание – от имени Коминтерна открыл первый подпольный съезд компартии. Через несколько месяцев Самуил вернулся и доложил лично товарищу Ленину о выполнении задания.

Его скромные командировочные, за вычетом двенадцати долларов, потраченных на питание, пошли на подарки. Он привез жене красное шерстяное платье с вязаными ягодами на воротнике и на плечах и красные туфли на три размера меньше, чем было нужно. Коньки были третьим и самым дорогим американским подарком в его багаже – куплены были на вырост малолетнему сыну, который вскоре умер.

Лучше бы купил коньки себе. Мальчишкой Самуил так мечтал выйти на середину катка и промчатся, пригнувшись к маслянистому льду, мимо всех своих недоброжелателей, мимо дам с муфтами, гимназистов и барышень, среди которых непременно должна была на-ходиться Маруся Гальперина... Коньки долго лежали в сундуке, ожидая появления нового наследника. Но детей у Самуила больше не случилось, и коньки, пролежав десять лет под спудом, достались сыну Гени, младшей сестры.

Теперь, спустя еще двадцать лет, они перешли в руки – точнее, в ноги – другому родственнику героического Самуила.

Таким неожиданным подарком, превышающим все представления о возможном счастье, закончился для Миши первый день каникул. И ничто не предвещало беды, которая из этого подарка вскоре последовала...

В новогодний вечер большая семья тети Гени собиралась за столом, который с разрешения соседей накрывали на просторной коммунальной кухне, а не в четырнадцатиметровой комнате, где проживала сама тетя Геня, ее незамужняя и неудачная в эндокринологическом отношении дочка Минна и с некоторых пор Миха. Еду тетя Геня приготовила богатую – сразу и курицу, и рыбу. Ночью, после памятного застолья, Миха написал стихотворение, в котором отразил незабываемые впечатления дня.

Коньки прекраснее всего,
Что в жизни видел я,
Прекрасней солнца и воды,
Прекраснее огня.
На них прекрасен человек,
Который на коньках.
И стол накрыт, как на балу,
Не перечесть всех ед,
И можно только пожелать

Родне больших побед.

Первоначально вместо «ед» стояло «яств». Но к «яствам» никакой рифмы, кроме «пьянства» в родительном падеже, не находилось.

Миха всю неделю вставал затемно и выходил во двор, на залитый пяточок катка, катался в одиночестве и уходил, как только во дворе появлялись отсыпавшиеся в дни каникул ребята. Он не очень твердо стоял на коньках и боялся, что не сможет отбить их в случае нападения.

Коньки были, конечно, в те каникулы событием номер один. Номер два – Санина бабушка Анна Александровна. Она водила мальчиков в музей.

Пробрало не только Миху, который по природе своей наполовину состоял из жажды знаний, научного и ненаучного любопытства и восторга, а на вторую половину из неопределенного творческого горения. Походы в музей произвели глубокое впечатление даже на Илью, который, казалось, художественными запросами не отличался, а больше склонялся к технике. Только Санечка, владелица потрясающей бабушки, обыденно переходил из зала в зал и время от времени подавал реплики – не друзьям, бабушке! – из которых следовало, что и здесь, в музеях, он, как и в консерватории, свой человек.

В Анну Александровну Миха влюбился. На всю жизнь, до самой ее смерти. Она же увидела в нем будущего мужчину той породы, какая ей всегда нравилась. Мальчонка был рыж, он был поэт, и в ту неделю он даже прихрамывал, перекатавшись на новых коньках, – точь-в-точь как тот поэт, почти великий, в которого Анна Александровна была тайно влюблена тринадцатилетней девочкой... Сам эталон, в ту далекую пору взрослый мужчина в ореоле борца и почти мученика, пользовавшийся в начале двадцатого века большим успехом, не заметил влюбленную барышню, но оставил глубокий отпечаток на какой-то фрейдовской изнанке ее психики: всю длинную жизнь ей нравились такие вот рыжие, яркие, эмоциональные мужчины.

Она улыбалась, глядя на Миху – малыш той самой породы, но разошлись во времени... И приятно было ловить его восторженный взгляд.

Таким образом, сам того не ведая, Миха пользовался взаимностью. С той зимы он стал частым гостем в доме Стекловых. В большой комнате с тремя окнами и еще половиной окна, рассеченного надвое перегородкой, под высоченным потолком с лепниной, тоже рассеченной, гнездились невиданные книги, и даже на иностранных языках. В позе всегдашней боевой готовности стояло пианино с упрятанной в него музыкой. Время от времени всплывали непривычные, но восхитительные запахи – настоящего кофе, мастики, духов.

«Наверное, именно так все и было в доме моих родителей», – думал Миха. Родителей он не помнил: мать погибла при бомбежке последнего состава, который шел из Киева на восток восемнадцатого сентября сорок первого года, когда немцы уже подходили к Подолу. Отец погиб на фронте, так и не узнав о гибели жены и спасении сына.

На самом деле в доме Михиных родителей все было совсем не так, как у Сани Стеклова, и фотографии родителей, чудом сохранившиеся после войны, он впервые увидел уже двадцатилетним. Там были изображены бедные некрасивые люди, сильно его разочаровавшие, – мама с фальшивой улыбкой на маленьких темных губах и с огромным бесстыжим бюстом и папа, толстый коротышка с необыкновенной важности лицом. Сзади топорщились фрагменты быта, ничем не напоминавшие отрезок малой залы бывшей усадьбы Апраксиных-Трубецких, в котором обитало семейство Сани.

Девятого января, под конец каникул, справляли Санин день рождения. До этого было еще и Рождество, но на него приглашались только взрослые гости. Прошло еще несколько лет, прежде чем ребят стали принимать и седьмого января. Зато на Санин день всегда оставались всякие рождественские сладости – засахаренные яблоки, вишни, даже апельсиновые корочки, которые готовила Анна Александровна как никто в мире. И еще: складывали ширму, переносили

силы ближе к двери обеденный стол и между двумя окнами воздвигали большую елку, украшенную невиданными игрушками из коробки, хранившейся весь год на антресолях.

Праздник Сане всегда устраивали прекрасный. Там бывали даже девочки: на этот раз две Санины подруги, Лиза и Соня, из музыкальной школы, и внучка бабушкиной подруги Тамара со своей подружкой Олей, но они были совсем маленькие, первоклашки, и никакого интереса у мальчиков не вызвали. Да и сама эта бабушкина подруга была маловыразительная и кое-какая. Зато дедушка Лизы, Василий Иннокентиевич, в военной форме, с усами, окруженный сложным запахом одеколona, медицины и войны, был великолепен. К внучке своей он полушутя обращался на «вы», а Анне Александровне говорил: «Нюта, ты...» Он был ее двоюродным братом, и Лиза, таким образом, приходилась Сане сколькотоюродной сестрой. Даже прозвучали дореволюционные слова «кузен», «кузина» – тоже, вероятно, из той коробки на антресолях...

Анна Александровна называла девчонок барышнями, мальчишек молодыми людьми, и Миха был ошеломлен всем этим великосветским обращением, совершенно растерян и успокоился, лишь когда Илья подмигнул ему издали с таким выражением лица – мол, не бойсь, не обидят!

Анна Александровна все организовала незабываемым образом. Сначала был кукольный театр с настоящей ширмой, Петрушкой, Ванькой и толстой куклой Розой. Они смешно дрались и ругались на иностранном языке.

Потом немного поиграли в слова. Маленькие девочки Тамара и Оля не отставали от взрослых, оказались не по годам развитыми. Анна Александровна пригласила детей к овальному столу, а взрослые второстепенно пили чай за шкафом. Василий Иннокентиевич сидел в кресле и курил папиросу. После окончания домашнего спектакля Анна Александровна вынула из серебряного портсигара, который лежал перед Василием Иннокентиевичем на столике, толстую папиросу, закурила, но тут же закашлялась:

– Базиль, ужасно крепкие папиросы!

– Потому я их никому и не предлагаю, Нюта.

– Фу, фу! – разгоняла перед собой пахучий дым Анна Александровна. – Откуда ты их берешь?

– Я табак покупаю, а Лизка гильзы набивает.

Но это было далеко не конец праздника. После театра был сладкий стол, который Миха запомнил на всю жизнь, – от самодельного крушона до желтых костяных колец, в которые были всунуты салфетки из жесткой белой ткани.

Илья с Михой переглядывались. Это был тот момент, когда Саня существовал единолично и высоко, а они вдвоем отдельно от него и чуть пониже. Дружба троим, как и всякий треугольник, вещь непростая. Возникают препятствия и соблазны – ревности, зависти, иногда вплоть до мельчайшей, даже извинительной, но подлости. Оправдывается ли подлость нестерпимо большой любовью? Нестерпимо большой ревностью и болью? Чтобы разобраться в этом, им троим была дана на редкость подходящая для этого эпоха и целая жизнь – кому короче, кому длиннее...

В этот вечер не только зажатый Миха, но даже разбитной Илья чувствовали себя несколько униженными великолепием дома. Саня, более всего занятый длиннолицей Лизой с распущенными из-под синей ленты волосами, что-то почуял, отозвал Мihu, они долго шептались между собой, а потом привлекли Анну Александровну. Немного погодя объявили, что будут ставить шараду. Затем Саня перевернул небольшой странноватый стул, и тот превратился в невысокую лесенку. Саня залез на самый верх, так что стал много выше Мihu, а тот стал на ступеньку пониже, и они прочитали на два голоса, пихаясь, толкая друг друга, дергая друг друга за уши, мыча и издавая разные непонятные звуки, следующее почти-стихотворение:

Мое первое на двоих одно —

разговор на лугу двух почтенных особ,
мое второе – в одном случае ноша – «тяжело – ух!»,
в другом – не вполне приличный звук,
издаваемый после еды,
мое третье, снова на двоих одно, —
в немецком языке предлог.
Вместе – имена двух существ,
условно принадлежащих виду Homo sapiens.

Гости смеялись, но разгадать, конечно, никто не мог. Среди гостей был только один человек, способный разгадать эту лингвистическую загадку, – Илья. И он не подвел. Дав гостям убедиться, что решение им не по зубам, он объявил не без гордости:

– Я знаю, эти животные называются Мутюкин и Мурыгин!

По совести говоря, эту шараду нельзя было ставить, ведь никто из гостей никогда слыхом не слыхивал ни о каких Мурыгиных и Мутюкиных, но никто их в этом не укорял. Было весело, чего еще надо?

Но внутри мальчишеской компании что-то повернулось: Миха, участвуя в сочинении шарады, подтянулся до Сани, а Илья даже и превознесся над ними – ведь именно он оказался разгадчиком, поддержал игру. Ее можно было бы считать неудачной, если б никто не отгадал. Молодец Илья!

Мальчишки обнялись, и Василий Иннокентиевич сфотографировал их втроем. Это была их первая совместная фотография.

Фотоаппарат у Василия Иннокентиевича был трофейный, замечательный – это Илья заметил. И еще заметил, что погоны полковничьи и со змейками. Военный врач...

Десятого января Анна Александровна повела мальчиков на фортепианный концерт в зал Чайковского – слушать Моцарта. Илье было здорово скучно, он даже заснул ненадолго, Миха пришел в большое возбуждение, потому что музыка эта вызвала восторг и смятение такие сильные, что он даже не смог написать по этому поводу стихотворения. Саня почему-то расстроился, чуть не плакал. Анна Александровна знала почему: Сане хотелось бы тоже вот так играть Моцарта...

Одиннадцатого пошли в школу, и в первый же день их троих и еще одного, Игоря Четверикова, в школьном дворе здорово изметелили. Началось с невинного обстрела снежками, а кончилось большим поражением: у Михи был подбит глаз, сломаны очки, Илье разбили губу. Обидно, что нападающих было всего двое, а их четверо. Саня по обыкновению держался чуть поодаль – скорее из деликатности, а не из трусости. Мурыгин и Мутюкин вызвали такое же отвращение, как незабываемая тряпка, которой возили по его лицу. На Саню противники вообще не обращали внимания, рыжий Миха, закатавший Мурыгину каменной твердости снежок ровно в нос, их интересовал гораздо больше. Илья отплевывал кровь у забора, Четвериков колебался, не пора ли дать деру, а Миха, прислонившись спиной к стене, стоял на изготовку с красными кулаками впереди лица. Кулаки у Михи были большие, почти мужского размера.

И тогда Мутюкин вытащил складной нож, похожий на перочинный, но, видно, для очень уж больших перьев, из него выскочило тонкое лезвие, и он пошел враскачку прямо на Миху с его глупыми кулаками. И тогда Саня взвизгнул, подпрыгнул, сделал два нескладных прыжка и схватился рукой за лезвие. Кровь хлынула неправдоподобно быстро, Саня махнул рукой, красная струя залила Мутюкину все лицо. Мутюкин завопил, как будто это ему нанесли ножевое ранение, и мгновенно унесся, сопровождаемый Мурыгиным. Но о победе никто не думал. Миха плохо видел происшедшее – он был без очков. Четвериков кинулся запоздало за Мурыгиным, но смысла в погоне не было ни малейшего. Илья перетягивал руку Сани шарфом, но кровь хлестала как из водопроводного крана.

– Беги к Анне Алексанне, быстро! – крикнул Илья Михе. – А ты давай в школу, к врачу.

Саня был без сознания – то ли от испуга, то ли от кровопотери. В Институт Склифосовского его доставили через двадцать пять минут. Кровь быстро остановили, рану зашили. Через неделю выяснилось, что четвертый и пятый пальцы не разгибаются. Пришел профессор, распеленал маленькую Санину кисть, порадовался, как хорошо идет заживление, и объявил, что этот чертов нож перерезал глубокую поперечную пястную связку, и он очень удивлен, что не разгибаются только два пальца, а не все четыре.

– Можно ли это разработать? Массаж? Электрофорез? Какие-нибудь новые процедуры? – спросила Анна Александровна у профессора, который посмотрел на нее с уважением.

– Обязательно. После полного заживления. Частично восстановится подвижность. Но, видите ли, сухожилия – это не мышцы.

– А музыкальный инструмент?

Профессор улыбнулся с сочувствием:

– Маловероятно.

Не знал, что подписал приговор. Анна Александровна ничего этого Сане не сказала, и полгода после выписки они ходили на процедуры.

В больницу к Сане сразу после операции прибежала директорша, разговоры о ноже дошли до нее, и она перепугалась. На допросе Ларисы Степановны Саня вел себя замкнуто и твердо: повторил раз пять, что нашел ножик в школьном дворе, нажал на кнопку, и лезвие выскочило, разрезав ему ладонь. А чей нож – понятия не имел. «Вещдок» обнаружили на следующий день после происшествия. Нож лежал, как в кино, посреди пропитанного кровью островка снега. Его доставили директорше, и он был уложен в верхний ящик ее письменного стола.

Тетя Геня долго стонала над Михиными разбитыми очками, мать Ильи поругала его немного за драчливость, а Игорю Четверикову и вообще удалось скрыть происшествие от родителей.

С этого дня он хотя не вошел в «Трианон» полноценным членом, но считался сочувствующим. Дальнейшее развитие событий, растянувшееся, правда, на четверть века, подтвердило, что все на свете закономерно – не напрасно потрепали этого будущего диссидента сверхъестественно прозорливые мелкие хулиганы.

Когда дело о взволновавшем всю школу побоище усилиями директорши удалось замять, от Мутюкина и Мурыгина на время отстали, они поссорились и дрались теперь между собой. Класс раскололся на два лагеря, и у всех была интересная жизнь – с вражескими лазутчиками, перебежчиками, переговорами и стычками. Боевой дух овладел большинством, а меньшинство расслабилось и разнежилось.

Саня пришел в школу через три недели с перевязанной рукой, ходил несколько дней, после чего заболел ангиной и до конца третьей четверти в школе не появлялся. Илья с Михой навещали его почти ежедневно, приносили уроки. Анна Александровна поила их чаем с яблочным пирогом, который назывался «пай». Это было первое английское слово, которое усвоил Миха. Саню английскому и французскому учили с детства. В школе как раз с пятого класса преподавали отвратительный немецкий. Но Анна Александровна по части немецкого языка оказалась неожиданно требовательна, стала заниматься с Саней дополнительно, пригласив для компании и Саниных друзей. Илья уклонялся, а Миха прибегал на уроки как на праздник.

Одновременно Анна Александровна подарила Михе старый английский учебник для начинающих.

– Учи, Миха, при твоих способностях сам все одолеешь. Я дам тебе несколько уроков, чтоб произношение поставить.

Так с барского стола валились на Миху щедрые дары.

У Сани настроение было странное: ничему не мешали подогнутые немного внутрь два крайних пальца, и даже было незаметно, потому что люди обычно не держат пальцы враспор, а всегда немного поджимают их внутрь. Но они означали полную перемену жизни, полную перемену планов. Он целыми днями слушал музыку и наслаждался как никогда прежде: он больше не беспокоился о том, что не сможет играть как великие музыканты... Язва неуверенности в своих талантах больше не точила его. Лиза – единственная! – понимала:

– Ты теперь свободней тех, кто пытается стать музыкантом. Немного завидую тебе...

– А я – тебе, – признавался Саня.

Они вместе ходили в консерваторию: Анна Александровна с Саней, Лиза с дедушкой, к ним присоединялась какая-нибудь бабушкина подруга, чья-нибудь племянница, родственница. Иногда, если был просвет в работе, приходил Лизин отец, Алексей Васильевич, тоже хирург, как и Василий Иннокентиевич, и видно было, какое между ними сильное фамильное сходство: удлиненные лица, высокие лбы, тонкие носы с кавказской горбинкой. Впрочем, тогда казалось, что все посетители консерватории между собой в родстве и, уж во всяком случае, все между собой знакомы. Это было особое малое население, затерянное в огромном многолюдстве города, – как религиозный орден, скрытая каста, может быть, даже как тайное общество...

В начале года вообще произошло множество событий.

Из Ленинграда приехал отец Ильи, Исай Семенович. Приезжал он раз-два в год, всегда с подарками. В прошлом году отец привез тоже хороший подарок – немецкую готовальню, но от нее, кроме красоты, никакого прока не было. На этот раз привез фотоаппарат «ФЭД-С», довоенный, сделанный руками мальчишек из трудовой коммуны имени Дзержинского и представлявший собой точную копию немецкой «лейки». Отец дорожил этим старым аппаратом – он был в войну корреспондентом, почти три года таскал его с собой – и теперь подарил своему единственному сыну, рожденному от южного романа с невзрачной немолодой девушкой Машей. Маша ни на что не рассчитывала, ни на что не претендовала, тихо любила сына, радовалась, что Исай не бросает его, дает иногда деньги, то вдруг помногу, то подолгу совсем ничего. В ласках Маша бывшему любовнику последовательно отказывала, чем подогревала к себе интерес. Она улыбалась, угощала пирогом, стелила хрустящее крахмалом белье, уходила на диванчик к сыну и ложилась рядом с ним «валетом». Исай же все более на нее дивился и все более о ней думал.

Фотоаппарата было немного жалко, но он переборол привязанность к верной и нужной вещи – чувство вины перед заброшенной мальчишкой перевесило. Были у него камеры и получше. И еще была семья и две любимые дочки, которые совершенно не интересовались никакой фототехникой. Мальчонка же просто затрясся от этого подарка, и отец почувствовал досаду на жизнь, в которой все не так устроилось, как надо бы, и вместо кроткой Маши, в невзрачности которой проглядывала и миловидность, досталась ему грубая крикливая Сима, и теперь он уж не мог и припомнить, как и зачем оказался ее подкаблучником-мужем.

Он рассказал сыну, что такое камера-обскура, что темной коробки с маленьким отверстием и пластинки, покрытой светочувствительным веществом, достаточно, чтобы сделать снимок, остановить мгновение жизни. Мария Федоровна тут же сидела, подперев щеку рукой, и улыбалась своему крохотному счастью. Ей надо было зернышко одно, как синице... Исай видел это и видел, как быстро Илья все схватывает, какие ловкие у него руки – похож был, похож! – и уехал с твердым намерением поменять свою жизнь так, чтобы почаще видеться с сыном. И Маша, Маша его притягивала теперь больше, чем тогда, летом тридцать восьмого, когда взял он ее скорее по обязанности нестарого и дееспособного мужчины, чем по осмысленной симпатии. Жизнь менять было поздно. Но хоть немного: признаться наконец Симе, что есть у него довоенный отпрыск, которого неплохо бы принять в доме и познакомить с младшими сестрами... Но это было последнее свидание отца с сыном: спустя два месяца Исай Семенович, лишившись работы на «Ленфильме», умер от инфаркта.

В тот последний раз отец пробыл у них дня два. Мать, как всегда после его отъезда, несколько дней исподтишка плакала, а потом перестала. Жизнь у Ильи явственно распалась на две половины – до «ФЭДа» и после. Эта умная машинка постепенно пробудила упрятанный в глубинах талант. Он и раньше собирал коллекции всего, что попадало в поле зрения: еще во втором классе у него собралась коллекция перьев, потом были спичечные этикетки и марки. Но это была преходящая мелочь. А теперь, когда он освоил весь технологический процесс – от выбора выдержки до наката фотобумаги на стекло, – он начал коллекционировать мгновения жизни. В нем пробудилась настоящая страсть коллекционера, и она не утихла уже никогда.

К концу школы собрался настоящий фотоархив, довольно культурный: каждая фотография подписана карандашом на обороте – время, место, действующие лица, все негативы в конвертах... Фотоаппарат изменил жизнь еще и потому, что вскоре оказалось, что, кроме аппарата, нужно множество вещей, которые стоили больших денег. Илья сильно задумался, и тогда еще один талант в нем проснулся: предпринимательский. У матери он никогда денег не просил, научился добывать сам. Первый весенний почин того года – расшибалочка. Он лучше всех в школе играл в эту мальчишескую игру, а потом научился играть и в другие. Это приносило заработок.

Саня Стеклов не одобрял Илюшиной погони за деньгами, но Илья только пожимал плечами:

– Ты знаешь, сколько стоит пачка фотобумаги восемнадцать на двадцать четыре? А проявитель? Откуда мне брать?

И Саня замолчал. Он знал, что деньги берутся у мамы с бабушкой, и догадывался, что это не лучший способ.

Старенькая камера сделала Илью фотографом. Вскоре он понял, что ему нужна своя фотолаборатория. Обычно такие домашние лаборатории фотолюбители устраивали в ваннных комнатах, где была проточная вода для промывки пленки. Но в их коммуналке никакой ванной не было. Был чулан, где три семьи хранили тазы для мытья и корыта для стирки, а также другие нужные вещи. Чулан имел общую стену с уборной, где водопровод был, так что Илья сразу же начал обдумывать план, как туда воду отвести и как вывести. О соседях, имевших равные права на чулан, Илья сразу не подумал.

В квартире, кроме Ильи с матерью, еще жила безвредная одинокая старушка Ольга Матвеевна и вдова Граня Лошкарева с тремя детьми, из которых двух младших Марья Федоровна часто сама водила в сад, где и работала. И вообще Марья Федоровна много помогала этой самой Гране.

Словом, Марья Федоровна попросила, и соседи ей не отказали – вытащили из чулана свои корыта, и теперь дело было за Ильей. Он еще успел написать отцу письмо с просьбой помочь устроить ему «проявочную». Отец растрогался, прислал сто пятьдесят рублей, а на переводе две строчки: «Приеду на майские праздники, все сделаем». Это было последнее его письмо – до майских он не дожил.

Воду в чулан протянули не сразу, года через полтора, но появился у Ильи свой закуток, где он теперь проводил много времени. Втащил туда найденный на помойке книжный шкаф, расположил в нем свое фотоимущество.

Пятый класс длился бесконечно. Шел тринадцатый год жизни – мальчишки постепенно наполнялись тестостероном, у самых ранних отрастала шерстка в укромных местах, открывались гнойнички на лбу, все чесалось, ломило, ныло, стало больше драк и ссор, и тянуло себя потрогать, облегчить неопределенное изнывание плоти.

Миха изнурял себя коньками. В результате тайных утренних тренировок он стал здорово кататься. И еще он пристрастился к чтению. Он и раньше читал все подряд, что в руки попадалось, а теперь Анна Александровна давала ему замечательные книги – Диккенса, Джека Лондона.

Тетя Геня ровно в десять часов вечера единожды всхрапывала с лошадиной силой, после чего до утра храпела тихонько и мерно. Минна укладывалась еще раньше и, покопшившись немного, быстро засыпала. Тогда Миха выскальзывал на кухню и читал там под общественной лампочкой сколько влезет, и ни разу не был пойман. Сидел, поковыривая тугие прыщи, с книжкой для юношества, ничего общего не имевшей с беспокойством его тела.

Саня как будто отставал от товарищей не только ростом – чистый лоб, чистый воротничок, нежный мальчик. Но и в нем тоже происходил процесс возмужания. Он объявил маме и бабушке, что больше не будет ходить на физиотерапию – всем ясно, что рука не выправится и музыкантом он никогда не будет. Мама и бабушка обе были музыкантами домашней квалификации, обе мечтали о музыкальной карьере, но обеим пришлось бросить обучение – время было совершенно немusикальное, выли трубы, гремели литавры, звучали марши-гимны, замаскированные под уличные песни.

Лучшее, что было у двух одиноких женщин, – Саня, он обещал стать музыкантом, и все шло замечательно, и педагог был прекрасный, и намечалось будущее... Теперь, после несчастного случая с ножом, в музыкальную школу Саня перестал ходить. Анна Александровна и Надежда Борисовна подготовились к ответственному разговору заранее. Анна Александровна сказала, что при его музыкальности не следует так окончательно порывать с музыкой. Профессионалом он не будет, но что мешает ему заниматься игрой на фортепиано дома – в домашнем музицировании есть особая прелесть. Саня немного поупрямствовал, отказываясь, но недели через две согласился. Стал заниматься дома с бабушкиной подругой, Евгенией Даниловной.

Он играл своими маленькими бесперспективными, изувеченными руками на любимом пианино карельской березы. Млел от шопеновских вальсов, как его ровесники от дворовых девочек, к которым можно было прикоснуться в суматохе игр и беготни. Читал, играл, а иногда делал то, что мальчики его возраста способны делать только в виде наказания, – гулял вдвоем с бабушкой по близлежащим бульварам.

Года два ходила к ним Евгения Даниловна, а потом занятия эти расстроились. Отчасти из-за Лизы: успехи ее были столь велики, а Санины столь незначительны, что он стал отлынивать.

Анна Александровна была преподавателем русского языка, но особой квалификации – учила русскому иностранцев.

Что это были за иностранцы! Молодые люди из коммунистического Китая, приехавшие обучаться в Военной академии. Это была восьмая или девятая профессия из тех, которыми Анна Александровна овладела после окончания гимназии, и на этот раз ее все устраивало: и отношение к ней начальства, и неполный рабочий день, и очень хорошая зарплата с разного рода добавками и привилегиями, включая прекрасный военный санаторий, которым она имела право пользоваться раз в год бесплатно.

Надежда Борисовна, Санина мать, была рентгенотехником. Профессия редкая, вредная, однако с коротким рабочим днем и бесплатным молоком для укрепления здоровья. Жизнь, несмотря на то что они могли считаться хорошо устроенной семьей, была непростой: слишком много скрытого недовольства копилось у матери с дочерью. Обе безмужние, потерявшие и тех мужчин, которые были их мужьями, и других, мужьями не ставших. Но бестактный вопрос, где же их мужья, никто не задавал. Кому положено, те знали. Спасибо, оставили в покое.

Миха проводил много времени у Стекловых. Саня трогал пальцами клавиши, они отзывались. Чудились какие-то переговоры между мальчиком и инструментом, но Миха, догадываясь о тайном смысле происходящего, понимать этого до конца не умел.

Он сидел в уголке, шелестел страницами, ждал прихода Анны Александровны, чтоб поговорить. Она ставила перед ним простое печенье, чашку чая с молоком и присаживалась рядом – с папиросой, которую не столько курила, сколько держала в красиво выгнутых пальцах. Иногда и Саня отходил от инструмента, садился на край стула. Но он своим присутствием немного

им мешал. Миха стремительно перерастал Диккенса, и Анна Александровна, не раздумывая, несла Пушкина.

– Да я уже читал! – противился Миха.

– Это как Евангелие – всю жизнь читают.

– Дайте лучше Евангелие, Анна Александровна, его-то я не читал...

Анна Александровна засмеялась, качая головой:

– Меня твои родственники убьют. Но, честно говоря, никакую европейскую книгу нельзя понять, не зная Евангелия. А уж про русскую и не говорю. Саня, принеси, дружочек, Евангелие. На русском.

– Нюта, – фамильярно поддел тот бабушку, – по-моему, ты просто растлитель малолетних.

Но книгу в черном переплете принес.

Уговорились, что читать Евангелие Миха будет, не вынося из их дома, и никому об этом не скажет. Сколько же теперь всего было у Михи – дом со своей раскладушкой, тетя Геня с супом, дебелая дебильная Минна, задевающая его постоянно то боком, то толстым бюстом, друзья Саня и Илья, Анна Александровна, коньки, книги...

В середине марта наступила оттепель, каток растаял, и Миха смазал коньки машинным маслом, как учил его Марлен, – для сохранности. Однако рано: ударили морозы, каточек зазеленел, и Миха снова встал на коньки. Ясно было, что скоро зима кончится. Теперь он уже и после обеда выходил во двор. Так и вышло, что все увидели его драгоценность. Подобных коньков ни у кого не было, все прикручивали какую-то дрянь к валенкам, и только у одного Михи были настоящие, с ботинками. О них мгновенно прошла по дворам большая слава. Дня через два Мурыгин пришел на них посмотреть. Постоял, посмотрел и ушел. На другой день, возвращаясь с дворового катка, Миха в парадном был прижат к стене Мурыгиным и Мутюкиным.

Дело было ясное – им приглянулись коньки.

– Давай снимай! – потребовал Мутюкин.

Мурыгин заломил Михе руки, Мутюкин подшиб под колени, Миха завалился. Они ловко стащили с ног коньки и убежали. Миха, в шерстяных носках, мелькая пятками, рванул за ними. Он нагнал их у ворот, уцепился за Мурыгина. Тот перекинул коньки Мутюкину. Мутюкин понесся с коньками по Покровке. Миха следом за своими коньками, с воплями, в сторону Покровских Ворот. Конечно, они бежали к Милютинскому саду, там был каток.

С Чистопрудного бульвара медленно выползал трамвай. Миха почти догнал Мутюкина – тот бросил коньки Мурыгину, но Мурыгин их упустил, и они упали между рельсами. Все трое кинулись за коньками. Трамвай закричал ужасным голосом, потом взвизгнул, захлебнулся звоном, заскрежетал. Миха упал. Когда открыл глаза, коньки лежали перед его носом. Мутюкина видно не было. Перед трамваем дымилась какая-то куча. Тряпье, кровь, вывернутая нога. Это были остатки Мурыгина. Набежала воющая толпа. Позади дребезжали трамваи. Миха встал, взял коньки... Нет, это был только один конек. Сгорбившись, он пошел домой. Он шел босиком по ледяной земле, носки куда-то делись, но ничего этого он не замечал. Возле подъезда он швырнул конек в сторону катка и, стуча зубами, вошел в подъезд, из которого выбежал ровно пять минут тому назад.

В подъезде подобрал свои ботинки, сунул в них голые ступни и понесся к Анне Александровне. Она выслушала его, ничего не сказала, но налила тарелку грибного супа и поставила перед ним.

Миха доел суп, Анна Александровна пошла на кухню с грязной тарелкой.

– Я этого не хотел, клянусь тебе! – тихо сказал Миха Сане.

– Да кто ж такого хочет? – мотнул головой Саня.

Ужасный звук трамвайный все разрушил,
Весь мир он поменял и разрубил.
И все, что было, есть и дальше будет.
А вот Мурыгин БЫЛ.

Это стихотворение сочинил Миха в день похорон Мурыгина. Хоронили Славу Мурыгина всей школой, как национального героя. Завуч и два старшеклассника возложили на могилку венок, купленный на собранные общественные деньги, и надпись была сделана золотым по красному.

Миха, свидетель и, как он считал, виновник этой смерти, все переживал ту минуту, ее молниеносную случайность: вот мелькнувшие в воздухе коньки, вот металлический вопль трамвая и неопрятная куча под трамвайными колесами вместо ничтожного и вредного мальчишки, кривляющегося и скачущего вдоль улицы за минуту перед тем. Жалость огромного размера, превышающая Михину голову, и сердце, и все тело, накрыла его, и это была жалость ко всем людям, и плохим, и хорошим, просто потому, что все они беззащитно-мягкие, хрупкие, и у всех от соприкосновения с бессмысленной железкой мгновенно ломаются кости, разбивается голова, вытекает кровь, и остается одна лишь безобразная куча. Бедный, бедный Мурыгин!

Ни у кого не сохранилось классной фотографии за пятьдесят второй год, только у Ильи. В его фотоархиве все фотографии были его собственные, авторские, только первые две сняты не им.

Одну сделал Василий Иннокентиевич в день Саниного рождения. Вторая была снята ремесленным фотографом: послевоенные недокормленные мальчишки стоят на этом снимке в четыре рядка. Нижние сидят, а верхние стоят на стульях, все в окружении толстых колошеев, складчатых знамен и пупырчатых гербов – декоративной рамки, которая была базисом, а вся бритоголовая мелочь, с лупоглазой училкой в середине, – надстройкой над стульями из актового зала. Мурыгин и Мутюкин стоят рядом, в верхнем ряду, с левой стороны. Мурыгин смотрит в сторону, маленький, наголо стриженный мальчик, незначительный и неопасный. Стеклова на фотографии нет – он болел. Миха в самом углу, внизу. В центре – классная руководительница, русичка, имя которой все забыли, потому что после пятого класса она навсегда ушла в декретный отпуск. Мутюкин в пятом классе остался на второй год, а вскоре и затерялся. Его карьера продолжалась в ремесленном училище, а потом и на зоне. Мурыгина больше не было нигде.

Новый учитель

В шестом классе на место никому не запомнившейся училки-русички пришел новый классный руководитель, Виктор Юльевич Шенгели, литератор.

Вся школа его заметила с первого же дня: он быстро шел по коридору, правый рукав серого полосатого пиджака был подколот чуть ниже локтя, и полруки в пиджаке слегка колыхалось. В левой он нес старорежимный портфель с двумя медными замками, по виду гораздо более старый, чем сам учитель. Прозвище ему образовалось уже в первую неделю – Рука.

Он был скорее молодой, лицо красивое, почти как у киноактера, но излишне подвижное: он то улыбался неизвестно чему, то хмурился, то подергивал носом или губами. Неправдоподобно вежливый, он всем говорил «вы», но при этом был невероятно ехиден.

Для начала он сказал Илье, когда тот проходил между рядами парт своей шаткой походкой: «А вы что здесь вихляетесь?» – и Илья его мгновенно и сильно невзлюбил. Потом учитель взял журнал, сделал переключку. На фамилии «Свиньин» – был такой несчастный ученик – сделал остановку, внимательно посмотрел на мелколицего Свиньина и сказал со странной, не то почтительной, не то насмешливой интонацией: «Хорошая фамилия!» Класс заржал с готовностью, Сенька Свиньин налился краской. Учитель поднял недоуменно брови:

– Да что вы смеетесь? Почтенная фамилия! Был старинный боярский род Свиньиных. Петр Первый посылал одного Свиньина – не помню, как звали, – в Голландию учиться. Да вы и «Князя Серебряного» не читали? Там Свиньин упоминается. Интереснейшая книга, между прочим...

Уже через три месяца все, включая Илью, Сенью Свиньина и в особенности Миху, смотрели учителю в рот, обсуждали каждое его слово и дергали губами и бровями точно как он.

И еще Рука читал стихи. Каждый урок, пока все усаживались и вынимали тетради, он начинал с какого-нибудь стихотворения и никогда не говорил, кто его написал. Выбирал причудливо – то общеизвестный «Белеет парус одинокий», то непонятный, но запоминающийся «...и воздух синь, как узелок с бельем у выписавшегося из больницы», то совсем уж ни с того ни с сего какую-то абракадабру:

Стояли холода, и шел «Тристан».
В оркестре пело раненое море,
Зеленый край за паром голубым.
Остановившееся дико сердце.
Никто не видел, как в театр вошла
И оказалась уж сидящей в ложе
Красавица, как полотно Брюллова,
Такие женщины живут в романах,
Встречаются они и на экране...
За них свершают кражи, преступленья,
Подкарауливают их кареты
И отравляются на чердаках...

У Михи кровь к лицу прилиwała от таких стихов, хотя другим было хоть бы что. Но учитель на Миху и поглядывал. Миха был почти единственный, кто заглатывал рифмованные строчки, как ложку варенья. Саня улыбался снисходительно учительской слабости – некоторые были те самые, что бабушка читала. Другие ребята это пристрастие учителю прощали. Стихи представлялись им делом женским, слабоватым для фронтовика.

Но иногда он вдруг читал стихотворение совершенно по делу – когда начинали тему «Тарас Бульба», он вошел в класс и прочитал явно про Гоголя:

Ты, загадкой своенравной
Промелькнувший на земле,
Пересмешник наш забавный
С думой скорби на челе.

Гамлет наш! Смесь слез и смеха,
Внешний смех и тайный плач,
Ты, несчастный от успеха,
Как другой от неудач.

Обожатель и страдалец
Славы, ласковой к тебе,
Жизни труженик, скиталец
С бурей внутренней в борьбе.

Духом схимник сокрушенный,
А пером Аристофан,
Врач и бич ожесточенный
Наших немощей и ран!

На все, ну буквально на все случаи жизни был у него заготовлен стишок!

– Мы изучаем литературу! – объявлял он постоянно, как свежую новость. – Литература – лучшее, что есть у человечества. Поэзия – это сердце литературы, высшая концентрация всего лучшего, что есть в мире и в человеке. Это единственная пища для души. И от вас зависит, будете вы вырастать в людей или останетесь на животном уровне.

Позже, когда всех ребят уже знал по именам и расставил в ряды – не так, как на классной ежегодной фотографии, и не по алфавиту, а своим собственным фасоном, – когда все сблизилось через разговоры о хитроумном Одиссее, о таинственном летописце Пимене, о несчастном сыне Тараса Бульбы, о честном глуповатом Алексее Берестове и смуглой умнице Акулине – всё по школьной программе, между прочим, – мальчишки стали задавать вопросы о войне: как было? И сразу стало ясно, что Виктор Юльевич литературу любит, а войну – нет. Станный человек! В то время все юное мужское население, не успевшее пострелять фашистов, войну обожало.

– Война – самая большая мерзость из тех, что выдумали люди, – говорил учитель и пресекал все вопросы, которые дымились на мальчишеских устах: где воевал? какие награды? как ранило? сколько фашистов убил?

Однажды рассказал:

– Я окончил второй курс, когда война началась. Все ребята пошли сразу же в военкомат и были отправлены на фронт. Из моей группы я один остался жив. Все погибли. И две девочки погибли. Поэтому я обеими руками против войны.

Он поднял вверх левую, а половина правой качнулась, но подняться не смогла.

По средам литература была последним уроком, и, закончив, Виктор Юльевич предлагал:

– Ну что, пройдемся?

Первая такая прогулка была в октябре. Пошли человек шесть. Илья спешил домой, как всегда, Саня в тот день прогуливал, что часто делал с позволения бабушки, так что компанию представлял один Миха, который потом почти дословно пересказал ребятам все удивитель-

ные истории, услышанные от учителя по дороге от школы к Кривоколенному переулку. Речь тогда шла о Пушкине. Но рассказывал о нем Виктор Юльевич так, что возникало подозрение, не учились ли они в одном классе. Оказалось, что Пушкин был картежник! Оказалось, что он страшно волочил за дамами! То есть был попросту бабник! К тому же он был большим задирой, никому ничего не спускал и всегда был готов поскандалить, пошуметь, пострелять на дуэли.

– Да, – грустно сказал Виктор Юльевич, – вот такое поведение привело к тому, что его считали бретером.

Никто и не спросил, что означает это иностранное слово, потому что и так было ясно: задира.

Потом он подвел их к обшарпанному дому на первом от улицы Кирова повороте, который делал этот Кривоколенный, указал широким жестом левой руки на дом и сказал:

– Вот, а теперь представьте себе! Здесь, конечно, никакого асфальта, дорога замощена брусчаткой, оттуда, с Мясницкой, выезжает карета. Ну, скорее не карета, а такая небольшая повозка с извозчиком. Пушкин был в Москве в гостях, отчасти по делу, здесь у него было множество родни и друзей, но дома своего никогда в Москве не было, да и выезда тоже. Если не считать квартиру на Арбате, которую он снимал после свадьбы совсем недолго, а потом уехал в Петербург. Он Москвы не любил, говорил, что здесь «слишком много теток». Вот, представьте, через сто лет после смерти Пушкина одна дама здесь проходила – после революции дело было – и вдруг с Мясницкой – цок-цок-цок! – заворачивает извозчик, останавливается вот здесь, из пролетки спрыгивает Пушкин – простучал сапогами по брусчатке и исчез в этом доме. Дама – ах! И тут вмиг все пропало – и брусчатка, и пролетка, и извозчик с лошадаками. Стали говорить, что дом этот с привидениями. Ну, так это было или не так, сейчас уже мы не выясним. А вот то, что в этом самом доме – здесь жил тогда поэт Веневитинов – происходило в октябре 1826 года, подтверждено многими свидетельствами: в парадной зале этого дома Пушкин читал свою трагедию «Борис Годунов». Было человек сорок гостей, и почти половина из них написала об этом в письмах родственникам сразу же или в воспоминаниях много лет спустя. Вы ведь все читали «Бориса Годунова», не так ли? Кто коротко перескажет содержание?

Миха всегда вызывался, но тут он вдруг подзабыл, в чем там было дело, и не хотел осямиться.

Другие скромно молчали. Наконец Игорь Четвериков сказал неуверенно:

– Он царевича Лжедмитрия убил.

– Поздравляю вас, Игорь. Историческая наука вещь довольно мутная. Вообще-то были две версии. Одна – что Борис Годунов убил царевича Димитрия. Вторая – что он не убивал царевича Димитрия и вообще был приличным человеком. Ваша версия с убийством другого человека – Лжедмитрия – полностью меняет представления историков. Не огорчайтесь, история – не алгебра. Точной наукой ее не назовешь. В каком-то смысле литература более точная наука. Что говорит великий писатель, то и становится исторической правдой. Военные историки нашли у Толстого множество ошибок в описании Бородинской битвы, а весь мир все равно видит ее именно такой, как описал ее Толстой в «Войне и мире». Пушкин тоже не стоял на заднем дворе дворца матери малолетнего царевича, Марии Нагой, где произошло – или не произошло! – убийство Димитрия. То же самое распространяется и на историю с Моцартом. Ну, «Маленькие трагедии» вы читали, надеюсь.

– Да, конечно. Гений и злодейство несовместны! – выпалил Миха.

– Да, я тоже так думаю. Вот про Сальери точно не установлено, отравил ли он Моцарта. Это всего лишь историческая версия. А произведение Пушкина – это, понимаете ли, факт. Огромный факт русской литературы. Историки могут найти доказательство того, что Сальери Моцарта не отравил, и все равно им с «Маленькими трагедиями» спорить невозможно. Пушкин высказал великую мысль: несовместны в одном человеке гений и злодейство.

Стало смеркаться, Виктор Юльевич попрощался с ребятами, и они пошли по домам, в разные стороны Китай-города.

Этот первый поход по литературным местам оказался прообразом кружка, который к концу года нашел себе название «ЛЮРС» – любителей русской словесности.

Узнав о том, как это было в первый раз, Илья не пропустил больше ни одного такого «выхода на натуру» – так Виктор Юльевич именовал их литературные блуждания по средам. Илья составлял отчеты о собраниях кружка, был секретарем, и весьма ответственным. Протоколы ЛЮРСа вместе с фотографиями хранились у него в книжном шкафу, в заветном чулане.

«Люрсы», участники кружка, по мере сближения с русской литературой девятнадцатого века постепенно узнавали кое-какие подробности военной биографии учителя.

Виктор Юльевич, подергивая ноздрями и щеками – контузия, теперь они знали, – рассказал, как вместе с однокурсниками пришел в военкомат на второй день после объявления войны.

Его направили в артиллерийское училище, в Тулу. Мальчишек интересовали конкретные вещи – бой, отступление, наступление, ранение... А какие орудия? А какие снаряды? А у немцев?

Учитель коротко отвечал. Воспоминания были тягостны...

Подготовка в Тульском училище велась на повышенных скоростях, но наступление немецкое оказалось еще более скоростным. В конце октября немцы подошли к Туле. Курсантов бросили на защиту города, каждому придали взвод из ополченцев, и огневые точки обслуживали курсанты-командиры и ополченцы-рядовые. Это напоминало бы игру взрослых «в войнушку», если бы в течение двенадцати часов всех подчистую не смело фашистским огнем. Виктора спасла интеллигентность, которая вообще-то ни в каких обстоятельствах никого не спасала. Он приказал рядовому, фамилию которого он не запомнил, поднести ящик со снарядами. Немолодой одутловатый ополченец обматерил командира: ты, начальник, кому приказываешь? Мне пятьдесят лет, а тебе восемнадцать. Ты и таскай ящики.

Курсант, которому было уже девятнадцать, слова не сказав, побежал за снарядами. Сто метров туда, налегке, сто обратно, с пятидесятикилограммовым ящиком. Орудийного расчета запыхавшийся командир не застал – огромная воронка дымилась на месте грамотно установленного орудия. А в живых – никого.

И хоронить было некого – прямое попадание. Курсант посидел на ящике, ни о чем не думая, но ощущая себя горелой землей, разбитым раскаленным металлом, вскипевшей кровью и обожженным тряпьем... Потом, оставив ненужный ящик, пошел прочь под свист и разрывы, которых он уже не слышал.

Когда осаду с Тулы сняли, училище перевели в Томск, по крайней мере тех, кто остался в живых после обороны. Погибший расчет долго снился, и одутловатый дядька мрачно материл его – вовсе не за ящик снарядов, а за что-то другое, более серьезное. Виктор тысячу раз возвращался мыслями туда: как правильно... как надо-то? Ведь если бы, как полагается командиру, рывкнул, то в живых остался бы тот, одутловатый...

Решил, что командиром быть не может. Только рядовым. Он написал заявление с просьбой отправить его в действующую армию. Отказали – до выпуска было полтора месяца. Небольшая провинность, вот что было нужно. Чтобы не отдали под суд, не отправили в штрафбат, а ограничились бы отправкой на фронт рядовым, без присвоения офицерского звания.

И он нашел правильного размера преступление. Накануне приказа о присвоении звания ушел в самоволку, напился в городе, залез в женское общежитие и провел ночь в красном уголке с девицей, которая рано утречком по его просьбе сдала загулявшего курсанта военному патрулю. И оказалось все точно, как в аптеке: отсидел десять дней на гауптвахте, а потом был отправлен в действующую армию рядовым. Так до самого конца войны – для него-то она закончилась в сорок четвертом, после ранения, – ни единого раза не приходилось ему отда-

вать приказов. Только выполнять. Задание всегда одно и то же: из точки А в точку Б дойти живым. И еще множество мелких забот – поесть, попить, выспаться, не сбить ногу и хорошо бы помыться... Приказывали – стрелял. Нет – нет, об этом не говорил. Об этом – молчал.

– А где вас ранило? – спрашивали ребята.

– В Польше, уже в наступлении. Вот, руку отняли.

Что было потом, ученикам не рассказывал. Как учился писать левой – круглым лежащим почерком, не лишенным элегантности. Обрубком правой слегка себе помогал, а протез из розового целлулоида не носил. Научился ловко надевать рюкзак – сперва левой рукой натягивал лямку на обрубок правой, а потом уж совал ее в петлю. Приехал из госпиталя в Москву. Институт, в котором учился до войны, тем временем расформировали и остатки влили в филфак. Туда он и вернулся в шинели, сохранявшей запах войны, и в офицерских, не по чину, сапогах.

Университет на Моховой! Какое это было счастье – полных три года он восстанавливал себя сам: чистил кровь Пушкиным, Толстым, Герценом...

В сорок восьмом, незадолго до окончания, предложили аспирантуру: и руководитель был прекрасный, медиевист и великий знаток европейской литературы, и тема интересная – с романо-германским уклоном, по связям Пушкина с этой самой зарубежной литературой. Виктор Юльевич колебался – еще хотелось преподавать детям, – казалось, что он знал теперь, чему учить. Выбор, выбор...

Где же тот голос, который в решающие моменты подсказывает? Но никакой голос не понадобился – несостоявшемуся руководителю надавали по шее за низкопоклонство перед Западом и космополитизм, а спустя какое-то время посадили...

Не получилось с аспирантурой. Отправили по распределению в среднюю школу поселка Калиново Вологодской области преподавать русский язык и литературу.

Жилье выделили при школе. Комната и прихожая, откуда топилась печь. Дровами обеспечивали. В местном магазине продавали дальневосточные крабы и конфеты-подушечки, дрянное вино и водку. Хлеб привозили два раза в неделю, очереди выстраивались с раннего утра, а магазин открывался в девять, когда первый урок шел к концу. Мамаши, следуя древнему деревенскому обыкновению, притаскивали ему то яйца, то творог, то деревенский пирог удивительного свойства: безумно вкусный в теплом виде и совершенно несъедобный в остывшем... Испокон веку принята была эта натуральная оплата трудов священников, врачей, учителей. Приношения он делил с уборщицей Марфушей, нелюдиминой вдовой со странностями, но пил в одиночку. Не много и не мало – ежевечернюю бутылку. Перед сном читал единственного автора, который никогда не надоедал.

Кроме литературы, еще приходилось учить географии и истории. Математику и физику вел директор школы, заодно и общественные науки, которые, меняя названия, все были историей партии. Остальные предметы – биологию и немецкий язык – преподавала ссыльная питерская финка. Было в ее биографии, кроме национальности, еще одно пятнышко – до войны работала с академиком Вавиловым, нераскаявшимся вейсманистом-морганистом.

Всё в Калинове было бедным, в избытке только нетронутая робкая природа. И, пожалуй, люди были лучше городских, тоже почти не тронутые городским душевным развратом.

Общение с деревенскими ребятами развеяло его студенческие иллюзии: доброе и вечное, конечно, не отменялось, но материя повседневной жизни была столь груба, и девочкам, укутанным в чиненые платки, успевшим до школы прибрать скотину и малых братьев-сестер, и мальчикам, летом тянувшим всю мужскую тяжелую работу на земле, – нужны ли им были все эти культурные ценности? Учеба на голодный желудок и потеря времени на знания, которые никогда и ни при каких условиях им не понадобятся?

Детство у них давно закончилось, они все сплошь были недорослые мужики и бабы, и даже те, кого матери охотно отпускали в школу, несомненное меньшинство, как будто испыты-

вали неловкость, что занимаются глупостями вместо настоящей серьезной работы. Из-за этого некоторую неуверенность испытывал и молодой учитель – и впрямь, не отвлекает ли он их от насущного дела жизни ради излишней роскоши. Какой Радищев? Какой Гоголь? Какой Пушкин, в конце концов? Обучить грамоте и поскорее отпустить домой – работать. Да и сами они только этого и желали.

Тогда он впервые задумался о феномене детства. Когда оно начинается, вопросов не вызывало. Но когда оно заканчивается? Где тот рубеж, начиная с которого человек становится взрослым? Очевидно, что у деревенских ребятишек детство заканчивалось раньше, чем у городских.

Северная деревня всегда жила впроголодь, а после войны все обнищали вконец, работали бабы и ребята. Из тридцати ушедших на фронт местных мужиков вернулись с войны двое, один безногий, второй туберкулезный, и тот через год умер. Дети, маленькие мужики-школьники, рано начинали трудовую жизнь, и детство у них было украдено.

Впрочем, что тут считать: у одних было украдено детство, у других – юность, у третьих – свобода. У самого же Виктора Юльевича совсем малость – аспирантура.

После трехлетнего срока полуссылки – места были те самые, куда при царизме ссылали таких, как он, умных молодых людей с чувством собственного достоинства, – выпустив семиклассников, Виктор Юльевич вернулся в Москву, к маме, в Большевикский переулок, в дом с рыцарем в нише у входа.

Первое же предложенное в Москве место преподавателя литературы чудесным образом оказалось в десяти минутах от дома, вблизи Исторической библиотеки, которая притягивала его, истосковавшегося по книжной культуре, больше, чем столичные театры и музеи.

Он пытался восстановить университетские связи, искал общения. Встретился с Леной Курцер, прошедшей войну как военный переводчик, но разговора откровенного не получилось. Разыскал еще двух своих однокурсниц, и опять ничего хорошего не вышло. Время было молчаливым, к откровенности не располагающим. Разговаривать стали несколько лет спустя. Из трех переживших войну однокурсников один пошел на партийную работу, второй преподавал в школе. Общение с ними ограничилось распитием бутылки, на том и увяло. Третий, Стас Комарницкий, оказался вне досягаемости: получил срок не то за анекдот, не то за обычную болтовню. Единственный из друзей, с кем общаться было в радость, был бывший сосед по двору Мишка Колесник, с которым они составляли веселенькую послевоенную парочку: Мишка без ноги, Виктор без руки. Называли себя «три руки, три ноги».

Мишка к тому времени стал биологом и женился на хорошей девчонке, тоже из их двора, но помладше.

Она была врачом, работала в городской больнице и очень хотела Виктора женить. Все норовила подсунуть ему какую-нибудь из своих безмужних коллег. Но Виктор не собирался жениться. Вернувшись из Калинова, он влюбился сразу в двух красоток – с одной познакомился в библиотеке, другая сама к нему подкатила в музей, куда водил он свой класс. Мишка шутил: повезло тебе, Вика, что бабы к тебе парами прибываются, а то была б одна, точно бы тебя охомутала...

Но «охомутала» его на самом деле работа. Самым интересным для Виктора оказалось общение с тринадцатилетними мальчишками. Они ничего общего не имели со своими деревенскими сверстниками. Эти московские мальчишки не пахали, не сеяли, не чинили конской сбруи, да и крестьянской ответственности за семью они не знали.

Они были нормальные дети – баловались на уроках, перекидывались шариками из жеваной бумаги, брызгали друг в друга водой, прятали портфели и учебники, жадничали, дрались, пихались, как щенята, а потом вдруг замирали и задавали настоящие вопросы. У них, в отличие от деревенских сверстников, все-таки было детство, из которого они неотвратимо выходили. Помимо прыщей, были и другие, с высшей нервной деятельностью связанные признаки

их взросления: задавали «проклятые вопросы», мучились несправедливостью мира, слушали стихи, а двое-трое из класса даже писали нечто стихообразное. Первым принес учителю аккуратный листок с рифмованными строчками Миха Меламид.

– Понятно, понятно, – вслух сказал Виктор Юльевич и улыбнулся. И про себя: «Еврейские мальчики особенно чувствительны к русской литературе».

Полкласса не вполне понимала, что от них хочет литератор. Вторая половина ходила за учителем хвостом. Виктор Юльевич старался вести себя со всеми ровно, но любимчики были – эмоциональный, честный до нелепости Миха, подвижный и ко многому способный Илья и замкнуто-интеллигентный Саня. Неразлучная тройца.

И сам он когда-то принадлежал к такой тройце, часто вспоминал двух любимых ифлийских друзей, Женю и Марка, погибших в первые недели войны. Не выросшие из детства, полные фальшивой романтики, с инфантильными стишками – «Бригантина, бригантина!» – каково бы им было сейчас... Этот рыжий Миха был им как младший брат, и при внимательном взгляде прочитывалась будущая корявая судьба. Нет, нет, никаких пророческих амбиций, просто беспокойство...

Пока еще шел год пятьдесят третий, и март еще не наступил, антисемитская кампания была в полном разгаре. В эти паршивые времена еврейская восьмушка Виктора Юльевича стонала и ужасалась, а грузинская четвертинка стыдилась и страдала.

Был Виктор Юльевич многокровка, носил грузинскую фамилию, писался русским, но русской крови в нем было немного. Дед-грузин был женат на немке – вместе учились в Швейцарии и родили там его отца Юлиуса. Родословная Ксении Николаевны, матери Виктора, была не менее экзотичной. Ее отец, произведение ссыльного поляка и еврейской девушки из первых ученых фельдшерниц, обвенчался с поповной, и вот эта священническая кровь и была русской долей.

От грузинского деда он унаследовал музыкальность, от бабушки-немки, тщательно скрывающей свое происхождение и предусмотрительно объявившей себя швейцаркой в двенадцатом году, сразу по приезде в Тифлис, Виктор получил рациональный склад ума и хваткую память, от еврейского прадеда пышные волосы и тонкую кость, а от вологодской бабки светлые северные глаза.

Ксения Николаевна, мать Виктора, рано овдовевшая, единственный живой потомок двух вымерших в революцию семей, аккуратно вытирала пыль с книжных полок, боролась с молью и поливала оранжевые ноготки, которые цвели почти круглый год у нее на подоконнике.

В жизни ее оставалось два любимых дела – ухаживать за сыном и расписывать шелковые платки для артели инвалидов. Еще она умела жарить котлеты и молочные гренки. После возвращения сына с фронта она быстро приучилась делать для Вики (это она звала его с детства почти женским именем «Вика», и привязалось, привилось к нему это имя) все то, что неподручно делать одной рукой: отрезала хлеб, мазала на него масло, когда оно было, по утрам замешивала ему мыльную пену для бритья...

Чего в Викторе Юльевиче категорически не было – гордого чувства принадлежности к какому-нибудь народу, он ощущал себя одновременно изгоем и белой костью, а жидоедские эти времена были отвратительны ему более всего эстетически: некрасивые люди, одетые в некрасивую одежду, некрасиво себя вели. Жизнь за пределами книжного пространства была какая-то оскорбительная, зато в книгах билась живая мысль, и чувство, и знание. Разрыв был непереносим, и все более он погружался в литературу. Только дети, которых он учил, примиряли его с тошнотворной действительностью.

И еще – женщины. Ему нравились прекрасные женщины. Они мелькали в его жизни коротко и празднично, чаще в последовательном порядке, иногда и в параллельном, и все они казались ему равно прекрасными.

Надо сказать, что и он нравился женщинам. Он был красив, и даже его физический изъян – о чем он не скоро догадался – обладал притягательностью. Красавицы соглашались на инвалида не только по той очевидной причине, что в послевоенное время мужчин было меньше, чем нужно для воспроизводства, как сказал бы ветеринар. Он был особенно привлекателен, потому что женщины ошибочно полагали, что уж он-то, со своим изъяном, будет принадлежать полностью и безраздельно.

Напрасно. Он никому не собирался вручать никаких прав на себя, что неявно предполагал брачный союз.

Бунин, Куприн и Чехов с его «Дамой с собачкой» развернули в русской литературе неизведанное до начала двадцатого века пространство «небожественной» любви – вспыхнувшей внезапно страсти, адюльтера, связи, всего того, что девятнадцатый век именовал «грязным».

Ни один из этих авторов не знал о главной проблеме нашего послевоенного времени – территориальной, которая в равной мере касалась и приверженцев любви божественной, и любовников с самыми примитивными устремлениями. Где? Где может состояться любовное свидание у человека, живущего в одной комнате с матерью, в городе, где нет гостиниц, куда можно привести даму для совместного переживания «солнечного удара», и даже каюты, где можно уединиться, и то не найти. Разве что летом на природе, но летнее время столь коротко в нашем климате...

Привести девушку к себе домой, за гобеленовую завесу, отделявшую мужскую, сыновнюю, половину комнаты от женской, материнской, было невозможно. Снять комнату для свиданий – отвратительно, да и дорого, просить ключ от квартиры у одинокого приятеля – все-таки неловко... Брезгливость Виктора Юльевича стояла на охране его нравственности.

Впрочем, ему везло, подруги его все были с жилплощадью. Разведенная Лидочка, к которой он захаживал, с красивой шеей и чудесной грудью, проживала в отдельной комнате, потом случилась Таня-травести, маленькая, вся на пружинках, подпрыгивающая даже на улице. Муж ее работал актером где-то в Саратове, а она снимала комнату на Сретенке, в удобном пешеходном расстоянии. Еще была Верочка, французская переводчица, образованная умница, с которой они ездили на пустую дачу ее родителей.

Ни одна из этих женщин не заходила к нему домой – Ксения Николаевна не переносила посторонних женщин. Мать с сыном мирно жили вдвоем, ни о каких переменах Виктор Юльевич не помышлял.

Утром второго марта они завтракали мягкими внутри и сильно зажаренными снаружи гренками. Ксения Николаевна порезала их на удобные для Вики куски. Эта мелочная, иногда совершенно излишняя опека возвращала ее к тем временам, когда Вика был маленьким мальчиком, она молода и красива, а муж жив.

Чай был заварен крепко, как любил покойный муж. Мирный завтрак был прерван правительственным сообщением – о болезни Сталина. Ксения Николаевна всплеснула руками, Виктор дернулся лицом. Помолчал, потом сказал:

– Дуба дал. Точно. Неделю будут морочить голову, а потом объявят.

– Не может быть.

– Почему же? Да было уже. Когда Александр Первый умер в Таганроге, курьер с известием о смерти ехал в Петербург, и после того, как он проехал через Москву, Голицын приказал разносить бюллетени о состоянии здоровья государя. Неделю городские носили по домам сводки.

– Да что ты! Откуда ты взял такое?

– Ну, сначала набрел в записках князя Кропоткина на эти бюллетени, а потом уж в Историчке и бюллетени нашел. Наденьте лицо, мадам, изображайте скорбь. Идут перемены.

– Страшно, – прошептала она. – Страшно, Вика.

– Ничего. Хуже не будет.

И отправился в школу. В учительской стояло тугое тревожное молчание. Если кто и говорил, то шепотом. Он поздоровался, взял журнал и пошел к своим мальчишкам.

Открыв дверь в класс, Рука с порога под утихающий гул стал читать:

Конница – одним, а другим – пехота,
Стройных кораблей вереница – третьим.
А по мне – на черной земле всех краше
Только любимый.

Очевидна всем, кто имеет очи,
Правда слов моих. Уж на что Елена
Нагляделась встарь на красавцев... Кто же
Душу пленил ей?

Муж, губитель злой благолепия Трои.
Позабыла все, что ей было мило:
И дитя, и мать – обуяна страстью
Властно влекущей...

– Ну, кто же мне скажет, что такое лирика? – спросил учитель, когда перестали хлопать крышки парт.

Класс замер. Виктор Юльевич наслаждался этой минутой – он научился создавать эту думающую тишину.

– Это про любовь, – сказал кто-то смелый.

– Правильно, но это будет неполный ответ. Лирика – это про всякие человеческие переживания, про внутреннюю жизнь человека. Ну и, конечно, про любовь. А также про печаль, про одиночество, про расставание с любимым человеком. Или даже не с человеком... Есть очень знаменитое стихотворение, тоже написанное до нашей эры, – на смерть воробышка. Я не шучу...

Плачьте, Венера и купидоны,
Горе всем тем, в ком сердце нежно.
Воробышек Лезбии милой моей умер,
Воробышек возлюбленной моей умер.
Пуще зеницы ока был он ей дорог,
И меда был слаще, знал хозяйки голос,
И льнул к ней, как к матери дочка родная.
С колен не слетал ее, только прыгал
Туда и сюда по ее подолу,
Чирикая ради одной хозяйки.
Теперь он в потемках бредет в тот мир жуткий,
Откуда возврата вовек не бывает.

Это тоже пример лирического стихотворения...

Вот мы с вами уже говорили о Гомере, немного читали из «Илиады», мы знаем об Одиссее. И уже знаем, что такое эпос. Ученые считают, что эпические произведения появились раньше, чем лирика. Вот в первом стихотворении, которое я прочитал, написанном в седьмом веке до нашей эры, упоминается Елена. Догадались ли вы, что это та самая Елена, из-за которой, как говорит легенда, началась Троянская война? С ней сравнивает автор свою любимую.

Эту «прекрасную Елену», жену царя Менелая, похищенную Парисом, мы встречаем даже у поэтов современных. Так она из эпоса перекочевала в лирику – как образ красавицы, покоряющей мужские сердца...

В глубокой древности, когда человеческая культура только возникала, слово было гораздо теснее связано с музыкой. Стихи читали вслух, им аккомпанировали на музыкальном инструменте, который назывался лирой. Откуда и пошла «лирика». За две с половиной тысячи лет многое изменилось: теперь редко читают стихи с музыкальным сопровождением, зато появились новые жанры, в которых слова и музыка нераздельны... Ну, давайте примеры...

Звенел звонок, а они всё сидели как одурманенные его словами. Почему не хлопали крышками парт, не срывались с воплями с мест, не кидались поспешно к двери, затыкая телами выход из класса – скорее прочь, прочь! В коридор, в раздевалку, на улицу!

Почему они его слушали? Почему ему самому было так интересно вкладывать в их головы то, в чем они совершенно не нуждались? И волновало ощущение очень тонкой власти – они на глазах обучались думать и чувствовать. Какой оазис посреди скучного безобразия!

Три дня спустя объявили о смерти Сталина, и Виктор Юльевич испытал несколько мелочное чувство удовлетворения – он догадался об этом раньше всех. К тому же он принадлежал к тому абсолютному меньшинству, которое оплакивать великую утрату не собиралось. Родители отправляли его в Грузию на все лето, и последний раз они были в Тбилиси всей семьей незадолго до смерти отца, в тридцать третьем году.

Он знал от отца, как презирала, боялась и ненавидела Джугашвили вся их грузинская родня.

Умер тиран. Умер титан. Существо древней породы, из подземного мира, страшное, сторукое, стоглавое. С усами.

В школе отменили занятия, школьников собрали на митинг. Виктор Юльевич вел своих шестиклассников, выстроенных попарно, на четвертый этаж, а Миха все вертелся возле него с бумажкой, совал ему в руку тетрадный лист, покрытый крупными лиловыми буквами. Стих написал.

Слова «Смерть Сталина» были взяты в рамку.

Плачьте, все люди, живущие здесь и повсюду,
Плачьте, врачи, машинистки и люди другого труда.
Умер наш Сталин, другого такого
Больше не будет нигде никогда.

«Привет тебе, Катулл», – усмехнулся про себя Виктор Юльевич и сказал тихо:

– Ну, врачи, допустим, понятно. А машинистки почему?

– Вообще-то моя тетя Геня была машинистка. Ну, можно «машинисты», – поправил на ходу Миха. – А можно я прочитаю?

Да, эта активность до добра не доведет.

– Нет, Миха, я вам не советую. Пожалуй, категорически не советую.

Миха хотел забрать листок, но учитель ловко сложил его пополам, прижав к груди:

– Можно, я возьму его на память?

– Конечно, – просиял Миха.

Зал набился полон. По радио транслировали Бетховена. Заплаканные учительницы выстроились возле гипсового бюста. Школьное знамя пунцового бархата роняло складки к полу. Виктор Юльевич стоял позади с пристойным выражением лица. Возле окна, прижатый товарищами к подоконнику, страдал восьмиклассник Боря Рахманов. Подоконник больно впи-

вался в правый бок, но податься было некуда. Это была легкая репетиция того, что произойдет с ним тремя днями позже.

После торжественного митинга с общенародным рыданием – учителя подавали пример искреннего горя, ребята подтягивались к трагической ноте – их развели по классам и усадили. Директриса все пыталась дозвониться в роно, чтобы узнать наверняка, надо ли отменять занятия и на сколько дней. Но телефон был сплошь занят. Только к часу дня сообщили, что школьников следует распустить по причине траура, а о начале занятий будет сообщено дополнительно.

Отпуская своих по домам, Виктор Юльевич просил всех сидеть дома, по улицам не шататься, а – самое лучшее! – почитать какие-нибудь хорошие книги.

Саня Стеклов последовал совету учителя с удовольствием. Он был, кажется, единственным, у кого дома стояло в шкафу полное собрание сочинений Толстого, и за четыре траурных дня Саня проглотил все четыре тома «Войны и мира», хотя, честно говоря, некоторые страницы пролистывал. Первый том, прочитав, он отдал Михе, но тот его и не раскрыл: в эти дни у него были другие заботы – тетушка Геня свалилась с сердечным приступом, Минна, как всегда в трудных обстоятельствах, заболела животом, и Миха трое суток выполнял ежеминутные поручения несколько преувеличенно сходящей с ума от горя тети Гени.

Илье плевать было и на рекомендации учителя, и на просьбы матери. Его тянуло на улицу тревожное ощущение важности происходящего. Рано утром седьмого марта, прихватив фотоаппарат, он вышел из дому с чувством охотника, предвкушающего большую удачу.

Трое суток Виктор Юльевич не выходил из дома и не выпускал мать. Хлеба не было, но он говорил ей:

– Мама, какой хлеб? У нас даже водки нет.

Действительно, запасенную матерью бутылку он выпил еще вечером пятого. Решил, что до момента, пока вождя не увезут куда-нибудь и не похоронят, выходить не будет.

Облачился в полосатую пижаму, набрал стопку книг и лег на тахту за гобеленовую завесу. Высшее счастье.

В десять часов девятого марта состоялся вынос тела из Колонного зала – низенькие люди в толстых пальто с каракулевыми воротниками, руководители государства, вынесли на руках гроб.

Тогда Виктор вышел из дома – за хлебом и за водкой. Людей на улице почти не было. Грузовики еще стояли вдоль улиц, и все напоминало пейзаж после схлынувшего наводнения – растоптанная обувь, шапки, портфели, разлученные навсегда со своими хозяевами, выломанные фонарные столбы, разбитые окна первых этажей. В арке дома – окровавленная стена. Растоптанная собака лежала в подворотне. Вспомнил Пушкина:

...Несчастный
знакомой улицей бежит
в места знакомые. Глядит,
узнать не может. Вид ужасный!

Прочитал в уме «Медного всадника» до самого конца:

...У порога
Нашли безумца моего.
И тут же хладный труп его
похоронили ради Бога...

Тут как раз, довольно далеко от дома, в переулке нашел открытый маленький магазинчик. Лестница вела в полуподвал.

Несколько женщин тихо разговаривали с продавщицей и замолкли, как только он вошел. «Как будто они говорили обо мне», – усмехнулся Виктор Юльевич.

Одна из теток признала в нем учителя, кинулась с вопросом:

– Виктор Юрьевич, это что же такое стряслось-то? Вот люди говорят, евреи подстроили ходынку эту? А вы слышали, может, что?

Она была матерью десятиклассника, но он не мог вспомнить, кого именно. Простые тетки часто называли его «Юрьевич», это раздражало. Но тут вдруг накатило на него странное, несвойственное ему смирение.

– Нет, голубушка, ничего такого я не слышал. Выпьем сегодня стопку-другую за помин души и будем дальше жить, как жили. А евреи что? Да такие ж люди, как мы. Две бутылки водки, пожалуйста, батон и половину черного. Да, пельменей две пачки...

Взял свое, расплатился и ушел, оставив теток в некотором замешательстве: может, и не евреи это подстроили, а другие какие... Врагов-то весь мир кругом. Все нам завидуют, все нас страшатся. И разговор их потек в другом, гордом направлении.

Сидели с матерью за круглым, пятнистым от ожогов столом, графинчик стоял между ними. Пельмени Ксения Николаевна принесла с кухни, как всегда, разваренные. Поставила кастрюльку на железную подставку. Виктор разлил по стопкам. И тут раздался звонок в дверь. Три звонка – к Шенгели.

Виктор пошел открывать. Чудо стояло за дверью – замотанная в кружевную черную шаль поверх меховой шапки, в мужском пальто с енотовым воротником, в облаке нафталинно-кошачьего запаха из давнего прошлого, возникла двоюродная сестра покойного отца, длинноногая красавица, певица, вышивальщица, неудавшаяся монахиня, излучавшая тепло и смех Нино.

– Ты ли? Возможно ли?

Он видел ее последний раз двадцать лет тому назад. Жил в ее тбилиском доме, который в детской памяти остался под знаком подозрения: а был ли тот дом на самом деле или приснился? Но она-то была та самая, даже не сильно постаревшая, дорогая Нино, милая Нинико...

– Вика, мальчик мой, ты совсем не изменился! В толпе бы тебя узнала!

– Господи, Нина, как ты? Откуда?

– Веди, веди в дом, не держи на пороге!

Они целовались, держали друг друга за головы, откидывались подальше, чтоб разглядеть, и снова целовались. Недоумевающая Ксения Николаевна стояла в дверном проеме – с кем там Вика целуется?

Господи, Нино! Грузинская родня, любимые кухни покойного мужа, из прошлого, из далекого прошлого...

Возможно ли? Да проходи! К столу, к столу! Да, руки помыть!

– А как же, как с кладбища, первым делом руки помыть! – Акцент грузинский, еще сильнее, чем прежде, в голосе смех, торжество.

Руки помыла, потом зашла в уборную и еще раз помыла руки. Ксения Николаевна уже поставила на стол третий прибор – все тарелки старые, в сколах и трещинах.

Виктор разлил водку.

– Сначала – за освобождение! Это как сорок лет по пустыне... Сдох! Мы вышли! – сказала она вопреки застольному порядку, который в Грузии всегда соблюдался. Женщина, гостья – первая не говорит!

Они выпили. Нино отщепила вилкой четверть пельменя, деликатнейшим образом положила в почти закрытый рот. И Виктор вспомнил, как учила она его есть, пить, входить,

садиться, здороваться. Все забыл начисто. И все делал так, как она его когда-то учила, забывши о самих уроках.

– Да как тебя сюда занесло, скажи, Ниночка?

Она откинулась на спинку стула, завела руки за голову и захохотала молодым смехом. Потом сбросила улыбку, сняла с плеча черную кружевную косынку, обмотала голову, встала, подняла вверх свои изумительные нестареющие руки и издала длинный вздымающийся вверх вопль. Потом сверху звук обрушился вниз, и слов почти никаких не было, потому что это был плач по умершему – древний, ни в каких словах не нуждающийся вопль скорби, в котором была и тоска, и боль, и торжество.

Нино закончила это древнее бессловесное высказывание и снова захохотала.

«Опьянела, бедняжка», – подумала Ксения Николаевна.

Отсмеявшись, Нино рассказала историю, которая на долгие годы станет самым любимым ее рассказом для близких людей.

Пятого марта, когда о смерти Сталина еще не объявили, в дом пришли двое энкавэдэшников и забрали ее. Хотели взять и сестру Манану, но та уехала в Кутаиси еще на прошлой неделе и дома ее не было.

Мама собирает вещи, плачет и шепчет:

– Не хочет, сатана, не хочет оставить нас в покое!

А сотрудник понял, глядя на сборы мамы, и говорит:

– Дочь ваша через три дня дома будет, ну, через пять. Слово даю.

Маму ты ведь помнишь, Вика? Ксения, конечно, помнит! Ей девяносто, она и молодая ничего не боялась, а уж сейчас чего ей бояться.

– О, слово твое как золото. А руки вот как железо!

– Напрасно обижаете, Ламара Ноевна, – говорит один из гаденышей. – Вашей дочери большая честь оказана, – он говорит.

Привез меня в горком партии. Да, честь большая. Там свет повсюду горит, народу по коридору носится туда-сюда без счету, как на Руставели в праздничный день. Ведут в зал. Полный зал женщин сидит – разного вида, есть совсем деревенские, но и Верико сидит, и Тамара, и сестры Менабде, певицы.

Выходят двое – сначала один говорит, мол, мир потерял, народ безутешен, всенародное горе... Думаю, это меня сюда ради этих слов привезли? Потом второй говорит – мы собрали вас, потому что по древнему грузинскому обычаю женщины оплакивают дорогих покойников. Только женщины могут это делать. Мы собрали вас, чтобы вы сделали хороший плач.

Вика, Ксения, я просто чуть сразу же не запела «Да воскреснет Бог, да расточатся врази Его!».

– Про всех про вас нам известно, – говорит этот крот лысый, – что вы пели на похоронах, знаете плач грузинский. Из Москвы нам сказали, что руководство хочет, чтобы вы оплакали нашего великого вождя.

Да я плачи эти никогда и знать не знала, панихиду пела много, а плачи эти языческие христиане не поют. Это вой, а не пение. Все равно, думаю, поеду! Не могу себе отказать в таком удовольствии.

Сколько там женщин было, не скажу. Очень много, полный самолет. Кто плачет, кто гордится, но все от страха трясутся. Признаться, я в самолете никогда не летала и не полетела бы ни за что – только по такому случаю.

Прилетели ночью, на автобусах отвезли за город, вроде гостиницы. Выспаться не дали, пришел грузин, собрал нас. Говорит, музыкант. Руководить будет. Лицо знакомое, где видела... Все смотрю, смотрю, а он отозвал меня и шепнул тихо в ухо: я брат Микеладзе... Ой, сатана, сколько народа погубил.

Словом, день плачем, ночь плачем, еще день плачем, мне уж надоело. Репетируем!

А вечером восьмого числа сообщают, что плач отменяется. Почему захотели, почему расхотели – черт знает! Всех погрузили в автобусы, повезли не знаю куда. А я лежу на кровати и кричу – ой, приступ какой, ой, боли! Думаю, нет, не поеду, пока тебя не увижу. Мне начальник какой-то говорит – билет тебе потом самой брать придется. Ой, кричу, боли какие! Возьму билет.

Наливай еще, Вика! Первый раз в жизни водку пью, первый раз в жизни соврала, первый раз в жизни великого злодея хороним!

– Тише, Нино, тише, – тронула ее за плечо Ксения Николаевна.

Та кивнула и приложила свои прекрасные руки к губам. Виктор взял ее правую руку в свою левую и поцеловал. В жизни что-то менялось. В лучшую сторону...

Дети подземелья

Илья шнырял по городу, все пытаясь понять, куда идет эта невиданная демонстрация. Он установил, что у нее много хвостов, и один из них начинается – или кончается – у Белорусского вокзала, а второй где-то на стыке трех бульваров – Петровского, Рождественского и Цветного. Он потолкался там, понял, что пленки мало, и, когда совсем стемнело, не без труда пробрался к дому. В одном месте, возле Почтамта, пришлось перелезть через забор. Никто, даже участковые милиционеры, не знал географии здешних мест лучше, чем здешние мальчишки. Здесь они годами играли в «казаки-разбойники», все проходные дворы и подъезды и даже канализационные люки знали наизусть. Во многих квартирах были черные лестницы, войдя с парадного входа, можно было позвонить к какому-нибудь однокласснику в дверь, прошмыгнуть через длинный коридор и выскочить черным ходом – в другой двор, а то и на другую улицу.

С утра седьмого марта он зарядил аппарат и сразу же, как мать ушла на работу, вышел на улицу. Утром все было забито людьми еще гуще, чем накануне. Выход с Маросейки на площадь был перекрыт теперь не только троллейбусами, а еще и вторым рядом грузовиков. К Колонному залу можно было подойти со стороны Пушкинской площади, но не по улице Горького, а по Пушкинской улице. Позже толпу пустили по Неглинке.

Все три близлежащих бульвара были заполнены спрессованными толпами людей, но в середине дня вдруг стало свободнее – сжатая со всех сторон толпа двинулась и побежала. Открыли какие-то боковые, переулочные проходы, и люди туда устремились. Никто так никогда и не выяснил, кто регулировал эти ловушки, устраивал засады и рукава, куда сбивались люди, но в конце концов они как-то просачивались через проходные дворы, сквозные подъезды, вливались и выливались, как вода, проникающая во все дырки.

Мощные «студебеккеры» перегораживали улицы, было множество военных и милиции, и Илья, прижимая фотоаппарат к животу, шнырял между машинами, подлез под одну из них и, вынырнув, столкнулся с Борей Рахмановым, восьмиклассником. Боря был настроен прорываться в Колонный зал. Илью во всей этой неразберихе интересовала больше всего сама неразбериха.

В центре во время демонстраций Первого мая и Седьмого ноября всегда происходило нечто подобное – колонны, кордоны, заслоны. Мальчишки, жившие в центре, давно уже знали эту праздничную суматоху и никогда не упускали случая в ней потолкаться. Но на этот раз происходило нечто поистине грандиозное. Илью страшно тянуло подняться повыше над толпой, чтобы сделать хоть один снимок сверху. Он позвал Борю с собой на знакомую крышу, но тот отказался.

«Дурак, – подумал Илья. – Я по крышам к Колонному залу раньше него доберусь».

Он решил пробиваться через Крапивенский переулок. Но в этот момент толпа шатнулась, его понесло куда-то в сторону Неглинки, а Борю унесло в другом направлении. Он мелькнул в последний раз, Илья увидел его красное лицо с открытым ртом. Он что-то кричал, но слышно не было. Стоял странный гул – в нем был и вой, и крики, и что-то похожее на пение, и впервые за два дня Илье стало не по себе.

Надо было добраться до знакомой арки, там во дворе был сарай, с крыши которого можно было легко перелезть на крышу соседнего дома, четырехэтажного. Илья сделал рывок в сторону арки и понял, что люди стараются держаться подальше от домов, внутри потока, боясь быть прижатыми к троллейбусам, стоящим один за другим вплотную. Люди бились о борта, и несколько человек, примятых и неподвижных, лежали, прижатые к троллейбусному брюху, а другие наступали на них ногами. Илье, чтобы попасть на тротуар, надо было протиснуться между телами – неужели они мертвые? Быть не может... Другого пути не было. Он понимал, что надо сразу же оказаться под защитой троллейбусного брюха, иначе его размажут по

стенке. Все время он помнил о «Феде», как ласково звал фотоаппарат, – не раздавить объектив. Ногами он вытоптал себе крохотное пространство возле колеса и шмыгнул туда. Там, под троллейбусом, была тьма и жуткая теснота – лежали мягко переплетенные тела в толстой одежде, и он полз между ними, продвигаясь во влажном смраде. Кто-то стонал. Выполз он из-под троллейбуса прямо в руки толстого военного с трясущимся мокрым лицом. Мальчишка лет пяти, белый и бесчувственный, мертво висел на нем.

– Ты куда?

– Я в том доме живу.

– Дуй домой и носа не показывай.

Военный подтолкнул его к арке, и Илья шмыгнул во двор. Сарай был на месте, и дощатый мусорный ящик рядом придвинут к стене. Илья залез на ящик, с него на крышу сарая, а там – он был здесь в позапрошлом году, летом, когда играл последний раз в «казаки-разбойники», – торчали удобные выступы, по которым легко можно было забраться на крышу «пестрого дома», из красного и белого кирпича, если только окно в подъезде на третьем этаже по-прежнему выбито.

Илье удивительно везло в тот день – он выскочил живым из смертоносной толпы, и теперь опять удача – окно было выбито.

Он пережил еще один страшный момент, когда хотел подтянуться на раме, а она вдруг шатнулась, как будто собираясь вывалиться на улицу. Но не вывалилась, и он благополучно спрыгнул с широкого подоконника внутрь. Далее его подстерегала неожиданность: чердак был заперт на новый стальной замок с такими здоровенными ушками, что отодрать их без инструмента было невозможно. Но дом был странной постройки, и окна в парадном выходили на две стороны – на третьем этаже во двор, а на втором и четвертом – на улицу. Илья поднялся на четвертый и увидел улицу. Она была как черная река, головы сверху казались завитками меха и шевелились, как шкура какого-то жуткого животного. Илья вытащил фотоаппарат, понимая, что с такого расстояния хорошо не получится, но подумал, что потом повторит снимок со второго этажа. На втором ему удалось открыть окно, снизу ворвался не крик, а какой-то равномерный вой, который прорывался то визгом, то воплем. Отсюда толпа уже не была похожа на мех. Головы, как темные камни, плотно прижатые друг к другу, колебались довольно ритмично, но никуда не сдвигались. Какая-то безумная дорога из живых булыжников шевелилась в танце на месте.

Сделал несколько снимков, но решил, что с четвертого будет все-таки выразительней. Он уже забыл страх, пережитый несколько минут тому назад.

Тут выскочила из квартиры пьяная тетка в красном халате и заорала:

– Ты чего там делаешь? Делать тебе нечего?

И добавила к этому сложную матерную фразу, которая поставила Илью в тупик.

Он был умен, не стал ей отвечать, показал рукой на рот, помахал около ушей, мол, глухонемой, и тетка, плюнув натурально, исчезла.

На четвертом этаже Илья почти добил пленку и стал подумывать о том, как бы ему теперь поскорее добраться до дома. Он прекрасно видел, что пройти обычной дорогой от Трубной площади вверх по Рождественскому бульвару, пересечь Сретенку и выйти к Чистопрудному бульвару невозможно. Но ему казалось, что если пробиться через площадь и перейти на ту сторону, то там двигаться будет легче. Он не знал, что толпа с Рождественского шла вниз и, сталкиваясь на Трубной площади со встречной, текущей со стороны Петровского бульвара, образовывала здесь смертельный водоворот.

Но сидеть в подъезде до скончания века он не собирался, к тому же дома мать наверняка волнуется и плачет. Он посидел еще немного на подоконнике, размышляя, приберечь ли остаток пленки или прямо сейчас сделать несколько последних кадров, потому что свет уходил. Потом сидеть наскучило, и он решил отсюда выбираться как угодно.

Выйти из двора было еще труднее, чем в него проникнуть. Но он рассчитал все правильно: позвонил в квартиру на первом этаже и умолил старика-хозяина выпустить его через другую дверь на улицу. Старик покачал головой и косноязычно промычал, что парадная дверь закрыта, но выйти можно через котельную.

«Вот, этому старику и притворяться не надо, без малого глухонемой», – усмехнулся Илья, который умел радоваться всяким совпадениям. Двор был совершенно пуст, ни души, а из-за стены раздавался глухой и мощный гул спрессованной толпы. Илья сразу же увидел котельную, она была заперта. Походил вокруг, залез на крышу котельной, с нее перебрался на стену и спрыгнул на пустой тротуар, отсеченный от толпы оцеплением. Теперь надо было прошмыгнуть мимо военного заслона, чтобы влиться в толпу. Он перебежал чуть поближе к перекрестку и прошмыгнул мимо двух военных на забитую людьми мостовую. И сразу же понял, что совершил ошибку, лучше бы сидел в парадном. Его сразу же поволокло со страшной силой, как бывает в море при большой отливной волне. Впереди маячил светофор.

И вот тут Илье впервые стало по-настоящему страшно: он испугался уже не за «Федю», который при ударе о столб светофора мог разбиться вдребезги. Он подумал о том, что может произойти с его головой. Руки, оберегающие фотоаппарат от удара, он не мог даже сдвинуть. Фотоаппарат вдавился ему в живот, но он чувствовал не боль, а ужасную тоску. Его несло на светофор, он оставался как будто чуть слева. Человек с разбитым лицом был прижат к светофору. Он, мертвый, стоял. Не мог упасть.

В этот миг земля под ногами дрогнула и разверзлась. Илья влетел в канализационный люк, крышка которого сдвинулась под ногами толпы. Упал Илья хорошо, на забытый водопроводчиками моток пакли. Слева была решетка, немного приподнятая с одного бока. Илья рванул, и она открылась полностью. Он ткнулся в эту нору и почему-то задвинул за собой решетку. Это инстинктивное движение спасло ему жизнь. Падавшие вслед за ним люди за несколько минут наполнили люк до отказа, и он, самый нижний, неминуемо был бы раздавлен. Тела падавших спрессовались так, что тысячи людей, шедшие по ним, не чувствовали, что ступают по человеческому мясу. Из-за решетки доносились вопли.

Наверху тем временем страшная невидимая волна вдруг понесла всех, расшибая о стены, ограждения, о борта грузовиков и вереницу троллейбусов. Это открыли проход, ведущий в глубину замкнутого квартала, но людям казалось, что наконец-то можно выбраться куда-то, где кончится это ломающее кости сжатие. Но этого Илья уже не видел. Он вообще ничего не видел. Была полная тьма.

В этой темной норе Илья пролежал довольно долго, а потом стал ощупывать стены. Он обнаружил большую трубу, которая вела немного вниз. Пополз по ней. Полз-полз, потом труба сделала небольшой поворот, и теперь он двинулся как будто немного вверх. Фотоаппарат был завернут в шапку и всунут под ремень брюк. Потом Илья заснул ненадолго, а проснувшись от лютого холода, не сразу сообразил, как в этой дыре оказался. Поднял голову и увидел, что метрах в двух над ним довольно большая прямоугольная решетка. Нельзя сказать, чтобы сверху шел свет – там тьма была не такой густой. Очень хотелось пить. Пахло противно, но не канализацией, а ржавым железом и крысами. Хотя никаких крыс он так и не увидел. Наверное, они тоже плотно сбитой стаей неслись в сторону Колонного зала.

Надо отсюда выбираться. В сводах стен, ведущих к решетке, были вбиты толстые скобы, он полез вверх. Долез до верха легко, но решетка оказалась намертво приваренной к раме, вылезти не было никакой возможности. Он спустился вниз, свернулся комочком и снова заснул. Когда проснулся, свету сверху стало больше. Он двинулся дальше по трубе – по ходу она расширялась.

Следующая решетка обнаружилась метров через пятьдесят. Он сразу же нашел скобы и поднялся по ним. Решетка приварена не была, была закреплена довольно свободно, но с наружной стороны заперта. Илья пополз дальше. Решетки возникали регулярно, метрах в пятиде-

сяти одна от другой. Он миновал их восемь, обследовал каждую, почти все были заварены, и только две заперты с наружной стороны. Потом он сбился со счета. Несколько раз засыпал в изнеможении, просыпался и снова полз. Три или четыре решетки подряд выходили в ноги толпы, света там не было, но шел страшный гул, по которому он догадывался, что здесь не надо и пытаться вылезать. Одна решетка была наполовину выбита, и оттуда свисала половина мертвого человека.

Он понятия не имел о направлении, но точно знал, что трубы – единственный возможный путь, и продвигаться надо вперед, хотя не понимал, куда они его выведут.

Сколько прошло времени, не понимал. Потом увидел решетку, через которую шел ясный желтый свет. Поднялся по шатким скобкам, тронул ее, и она легко открылась. Он вылез и обнаружил, что стоит под фонарем во дворе дома, где живет Саня Стеклов. Сил хватило добраться до Саниных дверей и позвонить.

Анна Александровна открыла дверь.

Илья сразу же упал. Руки он прижимал к животу, где под брючным ремнем сохранялся спасенный им «Федя».

Было одиннадцать вечера седьмого марта. Анна Александровна сделала, что могла: раздела Илью, отнесла с помощью соседа в ванну и дождалась, пока он откроет глаза. Потом вымыла большой лохматой мочалкой, осторожно обходя ссадины. Синяки покрывали тело, живот был сплошной синяк. Она подивилась еще и тому, что тощенький этот мальчик с совершенно детской мордой так хорошо снаряжен для мужской жизни. Из ванной он вышел сам, дошел до кушетки и рухнул. На него надели женскую ночную рубашку, накрыли пледом, дали крепкого сладкого чаю, а потом, подсунув под спину большую подушку, усадили и накормили супом. Он заснул.

Стекловы молча сели у стола.

– Нюта, я думаю, что сегодня много людей погибло, – шепотом сказал Саня бабушке.

– Наверное...

Потом Саня сидел рядом со спящим Ильей, ожидая, что тот проснется и расскажет ему, что там происходило. Чувство его к другу было сильным и сложным: он им гордился, немного завидовал, что сам не таков, как Илья, но быть таким, кажется, вовсе не хотел. Еще он понимал, что Илья мужчина – и об этом свидетельствовала не только темная поросьль под носом, но и волосяная дорожка вниз по животу, ведущая к взрослому большому члену, который сделан был не для одного писания. Обнаженного мужчину он до сегодняшнего дня не видел: в общественных бани его не водили.

Обнаженных женщин он тоже не видел: с чего бы вдруг стали обнажаться перед мальчиком две интеллигентные женщины, мать и бабушка? Но про женское Саня догадывался, оно было ожидаемым – грудь под платьем, темное гнездо волос внизу живота. Обнаженный мужчина, его друг и одноклассник Илья, его поразил гораздо сильнее – Саня остро ощутил, что он не такой и никогда таким не будет. Обнаженные нарисованные женщины – Саня много их перевидал в музеях и в альбомах – не вызывали почему-то такого волнения и смущения, как нагота мужчины – он чуть сознание не потерял от этой грубости и силы.

«Войну и мир» он почти дочитал, женские тени несколько его не тронули – ни Наташа с глупой восторженностью, ни княгиня Лиза с короткой губой, ни княжна Марья, заранее объявленная некрасивой, но мужчины... они были прекрасны – с их силой, щедростью, умом, благородством и чувством чести. Теперь, разглядывая лицо Ильи, он думал, на кого же из этих прекрасных мужчин похож Илья. Нет, не на сухого благородного Болконского, не на толстого умного Безухова и не на чудесного, любимого Петю Ростова, не на Николая, конечно же... Скорее на Долохова.

Марья Федоровна, мать Ильи, вторые сутки сидела на стуле возле входной двери. Телефона у них тогда еще не было, и Анна Александровна не могла ей сообщить, что ее сын жив. На улицу выходить было страшно. Да в любом случае перейти через трамвайные пути на перекрестке Чистопрудного бульвара и Маросейки было невозможно из-за военно-милицейского заслона.

Над городом стоял ужас – древний, знакомый лишь из греческой мифологии, он покрывал город, заливал его черной водой, тот ужас, который приходил лишь во сне, в детских кошмарах, поднимавшихся со дна души. Какая-то подземная прорва излилась наружу, угрожая любой человеческой жизни.

В оцепенении сидели и родители Бори Рахманова. Дозвониться в милицию, в больницы, в морги они не смогли. Все телефоны были заняты.

Борю они найдут только через четыре дня среди тел, лежащих на снегу возле переполненного Лефортовского морга. Опознают его по бельевой метке на рубашке – белые рубашки Галина Борисовна Рахманова не стирала сама, сдавала в прачечную. На руке погибшего сына был еще один номер, написанный фиолетовой краской, – 1421.

Хоронили этих задавленных людей тихо, скрытно. Никто их не пересчитал, и только номер на руке Бори свидетельствовал, что их было не менее полутора тысяч.

Венка от школы на могилу Бори Рахманова никто не возлагал. Да никаких цветов в те дни не было – все ушли на вождя. В эти страшные дни умер еще один человек, частной и домашней смертью, – композитор Сергей Прокофьев. Но до этого вообще никому не было дела.

Из всех снимков Ильи получилось только два. Освещенность, как и предполагал Илья, была недостаточной. Но других фотографий, кроме тех официальных, гробовых, из Колонного зала, что были опубликованы во всех газетах, не существовало.

«Люрсы»

По средам Виктор Юльевич таскал любителей русской словесности, «люрсов», как они себя называли, по Москве и выводил их, дуя в свою флейточку, из бедного и большого времени в пространство, где работала мысль, где жила свобода, и музыка, и всякие искусства. Вот, здесь все это обитало! За этими окнами!

Блуждания по литературной Москве носили изумительно хаотичный характер. В бывшем Гендриковом переулке заходили во двор дома, где, как ошибочно полагали, застрелился Маяковский, спускались по улице Дзержинского, бывшей Лубянке, к Сретенским воротам. Переименование московских улиц оскорбляло слух Виктора Юльевича, и он постоянно называл ребятам их старые имена.

По бульварам они доходили до площади Пушкина, где учитель показывал дом Фамусова, бродили по пушкинским адресам – дом Вяземского, дом Нащокина, дом, где помещались танцклассы Иогеля. Здесь Александр Сергеевич впервые увидел юную Натали.

– Тверской самый старый из всех бульваров. Были времена, когда его называли просто Бульвар. Он был единственный. Говорят, Бульварное кольцо, но никакого кольца на самом деле нет и не было – полукольцо. Упирается в реку. Все бульвары построены на месте каменной стены Белого города.

От площади Пушкина выбирали какой-нибудь нехоженный прежде маршрут. То шли через Богословский переулок к Трехпрудному, к дому, где жила когда-то Марина Цветаева, то через Тверской и Никитский бульвары выбирались к Арбату, пересекали Малую Молчановку возле домика Лермонтова, через Собачью площадку выходили к последней квартире Скрябина. Он здесь играл, и еще живы люди, сидевшие на его домашних концертах. Задавали вопросы. Имена застревают в памяти. Крутились по городу без всякого заранее продуманного плана, и ничего лучше этих блужданий нельзя было и вообразить.

Виктор Юльевич в связи с этими экскурсиями проводил много времени в библиотеках, ковыряясь в старых книгах и отыскивая редкости. В Историчке ему открылись залежи рукописных мемуаров, альбомов, писем. Некоторые материалы, судя по формулярам, не запрашивались вообще никогда. Он узнавал много ценного и неожиданного. Поражало, что многие, да все почти существующие разрозненно люди девятнадцатого века состояли между собой в родстве, несколько семейных кланов густо переплетались, их мир представлялся невероятно разветвленной семьей. В опубликованных до революции письмах постоянно присутствовали свидетельства этой удивительной взаимопроницаемости, и все эти связи, вместе с семейными ссорами, скандалами и мезальянсами, преобразались в романах Толстого в нечто более важное, чем семейная хроника. «Русская Библия», – приходило в голову Виктору Юльевичу.

Он, как Гулливер в стране лилипутов, каждым своим волосом был привязан к почве русской культуры, и связи эти от него протягивались к его мальчикам, которые входили во вкус, привыкали к этой пыльной, бумажной, эфемерной пище.

С компанией мальчишек он проходил по улице Горького, мимо лучшего в столице продовольственного магазина, «Елисейского», рассказывал своим «люрсам» о Зинаиде Александровне Волконской, которая была владелицей этого дома-дворца до его перестройки.

– Здесь был известный на всю Москву литературный салон, и весь московский свет сюда съезжался. Приглашали писателей, художников, музыкантов, профессоров. И Пушкин здесь бывал. Я недавно нашел в библиотеке один интересный документ – донесение полковника Бибикова от 1826 года, в котором черным по белому было написано: «Я слежу за сочинителем П. насколько возможно. Дома, которые наиболее часто посещает, суть дома княгини Зинаиды Волконской, князя Вяземского, бывшего министра Дмитриева и прокурора Жихарева. Разговоры там вращаются по большей части на литературе». Понимаете, что это значит?

– Да чего ж тут не понять? Слежка за ним была, – первым отреагировал Илья.

– Именно. Потому что во все времена бывают люди, которым интереснее всего «вращаться на литературе». Вроде нас с вами! – засмеялся учитель. – И есть полковники Бибиковы, кому поручено за ними присматривать. Да, такие времена...

Как будто ничего особенного не говорил, но все время – по краю. Он давно уже знал, что прошлое не лучше настоящего. Да и о чем говорить? Из всякого времени надо вырваться, выскакать, не давать ему поглотить себя.

– Литература – единственное, что помогает человеку выживать, примиряться со временем, – назидал Виктор Юльевич своих воспитанников.

Все охотно соглашались.

Только Саня немного сомневался: а музыка?

Вслушиваясь в Моцарта, в Шопена, он догадывался, что, помимо литературы, есть еще и совсем иное измерение, куда сопровождали его то бабушка, то Лиза, то домашняя учительница Евгения Даниловна. Туда он совершал ежедневный побег из школьного времени, пока рука была цела. Но и теперь, со скрюченными пальцами, он все равно не расставался с музыкой – слушал постоянно, понемногу брэнчал. Какая игра без двух пальцев? Иллюзий не было.

Для Миши эти литературные путешествия были одновременно побегом от удручающей тети Гени с ее мелочным существованием и полетом в поднебесные выси, где обитали благородные мужчины и прекрасные дамы.

Илья тоже не пропускал ни одной прогулки по Москве. У него была самостоятельная задача – он документировал все происходящее и составлял отчеты с фотографиями. Отчеты эти хранились частично дома у Виктора Юльевича, частично у Ильи в чулане.

Пройдет полтора десятилетия, прежде чем выродившийся потомок полковника Бибикова, полковник Чибиков (бессмертный Гоголь ухмыляется всякий раз, когда выскакивают подобные переключки имен), доберется до этого детского архива, и еще пятьдесят лет до того года, когда институт изучения Центральной и Восточной Европы в маленьком немецком городе со сказочным названием регистрирует этот архив за семизначным номером с косой чертой посередине, а примет этот архив на ответственное хранение один из «люрсов», тоже ученик Виктора Юльевича, но выпущенный годом позже.

Столкнувшись после деревенской школы с этими московскими мальчиками, Виктор Юльевич снова вернулся к размышлениям о детстве. Не хватало знаний. Он принялся за чтение научных книг.

Добывал полузапрещенные книги по психологии детства, от Фрейда, который стоял забытый на полках больших библиотек, до Выготского, изъятого и помещенного в спецхран. Почти все его опубликованные работы он нашел у бывшей своей сокурсницы, бабушка которой в период гонений на «педологию» была уволена, научилась вязать кофточки и тем перебивалась, но хранила все публикации Выготского как драгоценности и давала читать только избранным, да и то не «на вынос». Виктор Юльевич приходил в воскресенье утром и сидел до вечера, прерываясь несколько раз на московские чаепития.

Все это было очень интересно, но с излишком «научности»: вещи само собой разумеющиеся, вроде известного факта, что в подростковом возрасте мальчики перестают уважать родителей, становятся раздражительны, ссорятся, испытывают острое сексуальное любопытство и что все это вытекает из гормональной бури, которая происходит в организме, предьявлялись как открытия, а авторские объяснения и интерпретация порой представлялись Виктору Юльевичу спекулятивными и недоказательными.

Того, что искал, он не находил. Очень важные слова он выловил у Толстого, который назвал этот мучительный период «пустыней отрочества». Это было ближе всего к тому, что он наблюдал в своих развинченных, взъерошенных воспитанниках. Был момент, когда они,

казалось, теряли все, что накопили прежде, и жизнь как бы начиналась заново. И, похоже, не все выбирались из этой пустыни, а значительная часть оставалась в ней навсегда.

Почти единственным собеседником Виктора Юльевича был Миша Колесник, дворовый приятель детства, инвалид войны, биолог, дерзкий домодельный философ. Он слушал внимательно, но не выносил медлительности, поэтому перебивал, бурчал «дальше, дальше, уже понял», торопил друга, вставлял странные, не сразу понятные замечания – постоянные проекции на биологию. Виктор Юльевич постепенно привыкал к непривычному ходу мысли собеседника, проникался идеями универсализма знания, к которым подводил его хромой Колесник. Именно от него насквозь гуманитарный литератор узнал о принципах эволюции, о противоречиях ламаркизма и дарвинизма и даже о таких технических и частных явлениях, как метаморфоз, неотения, хромосомная наследственность.

Теперь он размышлял о своих подрастающих ребятах и догадывался, как близки происходящие в них процессы с тем метаморфозом, который происходит с насекомыми.

Несмышленные малыши, человеческие личинки, они потребляют всякую пищу, какую ни кинь, сосут, жуют, глотают все подряд впечатления, а потом окукливаются, и внутри куколки все складывается в нужном порядке, выстраивается необходимым образом – рефлекс отработаны, навыки воспитаны, первичные представления о мире усвоены. Но сколько куколок погибает, не достигнув последней своей фазы, так и не треснув по шву, не выпустив из себя бабочку. Анима, анима, душенька... Цветная, летающая, короткоживущая – и прекрасная. А какое множество так и остается личинками и живет до самой смерти, не догадываясь, что взрослость так и не пришла.

Там, у Выготского, речь шла о различении между процессом формирования навыков и процессом развертывания интересов. А Виктору Юльевичу виделась иная картина – он наблюдал у своих воспитанников развертывание крыльев, и на них отпечатывались смыслы и узоры. Но почему одни, как насекомые с полным циклом развития, претерпевают метаморфоз, а другие – вовсе нет?

Виктор Юльевич просто физически чувал эти минуты, когда роговые покровы куколки лопались, он слышал трепет и шорох крыл и наполнялся счастьем, как акушерка, принявшая ребенка.

Но почему-то метаморфоз этот происходил далеко не со всеми, скорее с меньшинством его воспитанников. В чем суть этого процесса? Пробуждение нравственного чувства? Да, конечно. Но почему-то с одними это происходит, а с другими нет. Есть какой-то загадочный модуль перехода: обряд, ритуал? А может, вид *Homo sapiens*, человек разумный, тоже переживает явление, сходное с неотенией, наблюдающейся у червей, насекомых, у земноводных, – когда способность к половому размножению появляется не у взрослых особей, а уже на личиночной стадии, и тогда не доросшие до взрослого состояния существа плодят себе подобных личинок, так никогда и не превратясь во взрослых?

– Ну, разумеется, это только метафора. Я понимаю, что физиологически мои недоростки вполне взрослые существа. Имаго, так сказать, – оправдывался он перед Колесником, но тот все быстро схватывал и не нуждался в истолкованиях.

Колесник поднимал круглые густые брови и, нажимая на «р», говорил с притворным удивлением:

– Ну, брат литератор, ты сильно поумнел за истекшую пятилетку! А можешь ли ты в этой ситуации дать определение имаго, то есть «взрослой» особи? Каковы критерии «взрослости»?

Виктор Юльевич задумывался:

– Не только способность к размножению. Ответственность за свои поступки, может быть? Самостоятельность? Степень осознанности?

– Качественные критерии, а не количественные! – тыкал пальцем Колесник. – Смотри, что получается у тебя: инициация – какая-то неопределенная вещь, и ответственность – как

ее измерять? И что же, по-твоему, личинка человека превращается в имаго, пройдя процесс инициации?

Виктор Юльевич напирал:

– Ты же признаешь, Мишка, что мы живем в обществе личинок, невыросших людей, подростков, закамуфлированных под взрослых?

– В этом что-то есть. Я подумаю, – обещал Колесник, – вопрос ты ставишь чисто антропологический, а современная антропология сейчас в большом застое, вот в чем дело. Но какой-то элемент неотении действительно просматривается.

Виктор Юльевич перечитал прорву книг. Он все искал, не практиковался ли где-то и когда-то необходимый ему ритуал перехода от детства во взрослую жизнь.

Всяких переходов такого рода описано было множество – связанных и с половым созреванием, и с переменой социального статуса, и с вступлением в избранное сообщество воинов, колдунов или шаманов, но он все искал такого, когда от дикости и хамства юноша одномоментно входил в культурное состояние, в нравственную взрослую жизнь. Конечно, можно было бы считать таким обрядом выпуск из европейских университетов образованных господ, облаченных в мантии и дурацкие шапочки. Но не они ли, образованные врачи, психологи и инженеры, потом налаживали наиболее рациональную систему истребления и утилизации людей в Третьем рейхе? Объем переваренных знаний не обеспечивал нравственной зрелости. Нет, это тоже не подходило.

Чтение, хотя и не давало прямых ответов на вопросы, не было бесплодным: теперь он угадывал древние обряды и ритуалы, искаженные до неузнаваемости, выхолощенные и доведенные до абсурда, в правилах и привычках современной советской жизни, и даже прием в пионеры, сопровождающийся клятвой и переменой одежды, представлялся пародией на какое-то древнее таинство. Правда, это были не новые белые одежды древних христиан, не фартуки масонов, а всего лишь тупоугольник красной тряпки, повязанный на шею. Но близко, близко...

Гору книг прочитав, он вернулся к русской классике – источнику, которому доверял безоговорочно. Он заново перечитал «Детство. Отрочество. Юность» Толстого, «Былое и думы» Герцена, «Детские годы Багрова-внука» Аксакова. К этому прибавились и «Записки революционера» Кропоткина, и трилогия Максима Горького, уже за пределами Золотого века: как мучительно детская душа принимает полный несправедливости и жестокости мир, как пробуждается к сочувствию, к состраданию.

Он проводил своих мальчиков путем Николеньки Иртеньева, Пети Кропоткина, Саши Герцена, даже Алеши Пешкова – через сиротство, обиды, жестокость и одиночество к восприятию вещей, которые сам считал основополагающими, – к осознанию добра и зла, к пониманию любви как высшей ценности.

Они отзывались на его призыв, научились сами находить эти важнейшие эпизоды – гаринские страницы о Теме, спускающемся, как в преисподнюю, в темноту склизкого колодца за упавшей туда собакой, о побежденном страхе, о кошке, убитой дворником на глазах юного Алеши Пешкова, и – дальше, дальше! – о казни декабристов, переживаемой Сашенькой Герценом. Происходило какое-то изменение в их сознании. Или нет?

Сам Виктор Юльевич, вынужденный оставаться в рамках школьной программы, искал постоянно то, что называл «стратегией пробуждения».

Давал все, что имел сам. В сущности, простые вещи – честь, справедливость, презрение к подлости и алчности... И подводил в конце концов к тому, что считал абсолютной вершиной русской классической литературы, – открывал дверь в комнату, где пятнадцатилетний недоросль, соблазненный шириной и добротой бумаги, из которой сделана была географическая карта, прилаживал мочальный хвост к мысу Доброй Надежды, мосье Бопре спал пьяным сном, и батюшка выволакивал вон нерадивого “outchitel”, к радости крепостного дядьки Савельича.

И Петруша Гринев, преодолевая жестокие испытания, сберегал честь и достоинство, которые становились дороже жизни.

Но все-таки была одна странность в этой прекрасной литературе: вся она была написана мужчинами о мальчиках. Для мальчиков. Все о чести, о мужестве, о долге. Как будто все русское детство – мужское... А где же детство девочек? Какая у них ничтожная роль! Наташа Ростова восхитительно пляшет и поет, Кити катается на коньках, Маша Миронова отбивается от посягательств негодяя. Все юные кузины и их подруги, в которых влюблены мальчики, славны своими локонами и оборками. Остальные – несчастные жертвы: от Анны Карениной и Катюши Масловой до Сонечки Мармеладовой. Интересно, интересно. Как обстоит дело с девочками? Они всего лишь объект мужского интереса? А где их детство? Претерпевают ли они тот внутренний переворот, который случается с мальчиками? Неужели только акт физиологии? Биологии?

В сентябре пятьдесят четвертого года произошло грандиозное событие – ввели совместное обучение. На фотографиях Илюшиного архива появились девочки.

Все сошли с ума, в первую очередь опытные учительницы, привыкшие к своим мальчикам и видевшие в присутствии девочек большую нравственную опасность.

Девочки всех безумно волновали. И не столько эти определенные девочки, сколько привлекательная и страшноватая стихия, которая за ними стояла. Мальчики «Трианона» в разговорах этого почти не касались, вероятно, из-за Сани, который не выносил «неприличия», куда относил множество разнообразнейших вещей: физическую нечистоплотность, грязную речь, ложь, любопытство. Илья, который в другой компании мог бы себе позволить и сквернословие, и грубую шутку, в присутствии Сани подтягивался. О девочках разговаривать было между ними не принято именно потому, что этот разговор с какой-то нечистой окраской постоянно велся одноклассниками. Но облако умолчания над этими тремя присутствовало, раннее предчувствие неизвестного еще правила: уважающие себя мужчины не обсуждают женщин.

Всякая школьная мелочь – первоклассники, второклашки – никакого стресса не испытала, зато восьмиклассники просто взбесились. Девочка сама по себе выводила из равновесия. Девочка была неприлична по своей сути. На них, девочках, были чулки, подцепленные резинками, подола их форменных платьев иногда задирались, и там мелькало голое, розовое и голубое. Даже у самой плохонькой под черным фартуком были скрыты заметные груди. Не то чтобы мальчишки раньше этого не знали. Знали, конечно, но теперь все это было в такой невыносимой близости. А уроки физкультуры! У них была женская раздевалка, в которой они раздевались. Может быть, догола.

Возбуждение висело в воздухе, как пыль во время ремонта. Ото всех било током, всех колотила любовная лихорадка.

Мальчики преобразились и внешне: теперь они носили форму, похожую на гимназическую, кителя и гимнастерки голубиного цвета. Всем покупали на вырост, хорошо сидела форма только на Сане Стеклове, которому бабушка купила точно в размер. Ему, хоть и подросток за лето, не суждено было догнать Илью или Миху. Однако, как ни странно, именно мелкий Саня пользовался успехом у девиц. Записки летали по классу, как опасные, но медоносные пчелы, только что не жужжали.

К Новому году определились симпатии и антипатии и даже сложились первые любовные союзы. Те, кто не достиг успеха в завоевании особ иного пола, возлагали большие надежды на новогодний вечер.

В середине декабря все планы разрушились. В школе появилась корь. Началась с младших классов, потом перекинулась на более старшие, и к концу декабря был объявлен строгий карантин. Запрещали даже спускаться с этажа на этаж и пользоваться общей столовой. Больше трети учащихся восьмого «А» охвачены были корью. Саня все ждал, когда заболеет, по утрам рассматривал лицо в зеркале, но красноватой сыпи не наблюдалось.

Из классов выпускали только в уборную. На большой перемене медсестра и буфетчица приносили пирожки, винегрет и сладкий чай в чайнике прямо в класс. Сначала это было интересно, но быстро надоело. Самое же неприятное во всей этой эпидемической истории была отмена новогоднего вечера. Вторая четверть закончилась скучно, разошлись на зимние каникулы. Тридцать первого декабря Саня все-таки заболел, чем лишил своих друзей еще одного, самого любимого праздника – своего дня рождения.

Скучные каникулы скрасил Виктор Юльевич. Обычно в каникулы он отменял встречи «люрсов», но в тот год они встречались чуть ли не через день. Во всяком случае, у Ильи сохранилось много фотографий именно от этих дней. Это были многолюдные походы, собирались все, кого не сразила зараза. Гуляли часа по три, а потом еще заходили к Виктору Юльевичу домой, пить чай. На тех фотографиях впервые появились подруги Катя Зуева и Аня Филимонова, первые девочки, присоединившиеся к их мужскому до этого времени кружку.

У Кати еще не остриженные косы с черными бантиками на концах свешиваются на воротник пальто, а Филимонова в лыжной шапочке, мыском на лоб, похожа на мальчика, с прыщами на лбу. Их-то она шапочкой и прикрывает, догадался Илья. Он же первый и заметил, что Катя влюблена в учителя.

В школу она ходила, собрав косы в некрасивую «корзинку», а приходя на заседание «люрсов» – так называли они те встречи, которые проходили не на улице, а на квартире у Юлича, – выпускала всю гриву на волю и удивительно хорошела. Она сидела за круглым столом, всегда на одном и том же месте, положив на подогнутую ладонь подбородок, и лицо ее было почти закрыто волосами, и Миха все пытался пригнуться пониже, чтобы заглянуть в ее упрямое лицо. Она ему очень нравилась, особенно вне школы. Кроме того, ему еще нравились маленькая Роза Галеева из седьмого класса и Зоя Крым из параллельного.

Всякий раз, когда Юлич обращался к Кате, она смешно краснела всем лицом так сильно, что белым оставался один нос. Катя была замкнута и молчалива, даже с Аней, близкой подругой, не поделилась своей великой тайной: была беспamięтно влюблена в учителя, с первого взгляда, с первого сентября, когда увидела его в школьном дворе перед торжественным построением, окруженного мальчишками, оживленного, смеющегося.

Она по-школьному бегала за ним, издали провожала до дома. Иногда подходила к его подъезду вечером, но ни разу не встретила на улице. Решилась ходить в его кружок, но пошла, только подбив Аню, которую вообще-то больше интересовал волейбол.

Ближе к весне произошло событие, о котором Катя рассказала своему мужу два года спустя. Кате достали билет в Большой театр на балет Прокофьева «Война и мир». Вся Москва стремилась на этот спектакль, и Катина бабушка отдала ей единственный билет, добытый благодаря ее обширным связям. После первого акта Катя из познавательного интереса заглянула в театральную буфет. Там была толчея, теснота и шум, к буфету стояла длинная очередь. За ближайшим у двери столиком сидел Виктор Юльевич. Рядом с ним красивая женщина восточного облика. На столике лежал букет цветов. Они разговаривали, а потом он положил левую руку на ее плечо, и Катю по-настоящему затошнило. Она ушла домой, не досмотрев спектакля. Бабушке сказала, что страшно заболела голова.

Через неделю она подстерегла Виктора Юльевича в его подъезде и сказала, что любит его. Было очень страшно, что он ее засмеет. Но он не засмеял. Положил ей руку на плечо, как той восточной женщине, и сказал очень серьезно, что уже догадался, но не знает, что с этим делать.

– Ничего. Я просто умираю, когда думаю о той женщине, с которой вы были в театре. Вы на ней женитесь?

– Нет, Катя. Я на ней не женюсь. Она уже замужем, – ответил он совершенно серьезно.

– Тогда вы на мне женитесь! – И убежала.

– Когда вы школу закончите! – крикнул ей вслед Виктор Юльевич.

Хлопнула дверь подъезда. Он улыбнулся, покачал головой и, вытащив железный портсигар, ловко вытянул из него папиросу. Он многое умел делать одной рукой – чиркнул зажигалкой, закурил. Стоял, курил и улыбался. Он, потеряв руку, тогда же и принял решение, что никогда не женится, не поставит себя в унижительную зависимость от женщины, и вот уже больше десяти лет удачно увивался от брака и сбегал – трусливо, решительно, иногда жестко, иногда мягко – в тот момент, когда начинала маячить семейная перспектива.

Но сейчас он улыбался: девочка была очаровательная, страстно и одновременно по-детски в него влюблена, и никакой опасности от нее не исходило. Ему и в голову не могло прийти тогда, что действительно женится на ней, как только она закончит школу.

Весь следующий год девятиклассники были погружены в девятнадцатый век. Издали он казался очень привлекательным. Обычные разговоры, точно в салоне Зинаиды Волконской, «вращались на литературе». И «на истории». Как в донесении полковника Бибикова.

Декабристы – сердце русской истории, лучшая ее легенда – страшно всех увлекали. Илья даже собрал собственную портретную галерею декабристов (еще одна зачаточная, впоследствии брошенная на произвол судьбы коллекция), переснимал их портреты из книг и здорово наловчился в ремесле репродукции. В какой-то момент Саня, разглядывая самодельный Илюшин альбом, ткнул пальцем в одного усатого и довольно лохматого и запросто, как вещь незначительную и обыкновенную, сказал:

– Какой-то там прабабки брат был этот Лунин. Бабушка говорит, что он был без страха и упрека. Двое декабристов было у нас в родне. А второй... деда моего Стеклова какой-то прапра... сами порасспросите Нюту. Она расскажет. У нее даже какие-то письма хранятся.

Миха с Ильей остолбенели: как? И немедленно понеслись к Анне Александровне.

Анна Александровна отвела руку с папиросой и заломила бровь:

– Да, были в родстве.

Как все люди ее поколения, она избегала разговоров о прошлом, даже столь отдаленном. На всякий случай они засыпали ее вопросами. Она отвечала сухо. Да, Михаил Сергеевич Лунин был братом ее прабабки. А покойный муж Саниной мамы Степан Юрьевич Стеклов был потомком Сергея Петровича Трубецкого. Сын Сергея Петровича жил на Большой Никитской. Трубецких было множество, огромный род. Этот дом около ста лет принадлежал одному из Трубецких. Первый владелец Дмитрий Юриевич, но это другая линия, не та, от которой декабрист. Сама она кровного родства с Трубецким не имеет, а вот Саня – потомок по женской линии...

Тут Миха возмутился:

– И ты молчал?

– Да почему я должен об этом особо распространяться? – скривился Саня.

– Ну ты даешь! Да всякий бы гордился! – Миха смотрел на Саню изменившимся взглядом. – Да что ты! Это же про них: «Во глубине сибирских руд...» и все такое...

Такое умильное восхищение написано было на морде рыжего, что Саня его жестоко осадил. Склонившись к его уху, тихо, чтобы Анна Александровна не слышала, сказал ему:

– Ага! Во глубине сибирских руд два мужика сидят и срут. Не пропадет их скорбный труд, говно пойдет на удобренье!

Анна Александровна с детства перекормила его этими историями, и он был равнодушен к своим земным корням.

Илья то ли услышал, то ли догадался, залился своим длинным хохотом: уж больно смешным показалось ему Михино ошеломленное лицо. Длинными детскими ресницами похлопав, Миха сказал дрожащим голосом:

– Как ты можешь? Как ты смеешь? Да за такие слова тебя на дуэль...

Анна Александровна наслаждалась этой сценой: ее рыжий фаворит, предков которого и на порог аристократического дома не пустили бы, собирался вызывать на дуэль ее внука.

– Глупые вы детки, хотя усы уже растут. Поставь, Санечка, чайник.

Саня послушно пошел на кухню. Анна Александровна зашуршала в буфете. Сегодня там не было ничего особенного – сушки да сухари. Но запах ванили и еще чего-то, дореволюционного, всегда оттуда шел, когда верхнюю створку распахивали, и Миха его очень любил.

Чай пили в молчании. Миха с Ильей молчали, переживая открытие, что давно и хорошо знакомые люди состоят в таком высоком родстве, и даже ощущая свою сиюминутную близость к великой истории.

«Надо всех их сфотографировать, – решил Илья, – Анну Александровну, и Надежду Борисовну, и Саню. Чтобы была полная коллекция, – подумал Илья. – Первым делом Анну Александровну, а то ведь скоро умрет, наверное».

И уже прикидывал, что надо сделать настоящий портрет, чтобы и нос с горбинкой, и пучок, который держался на большой коричневой заколке, и маленькие завитушки седых волос, падающие за длинными ушами на морщинистую шею, – чтобы все это было видно. И он прикидывал такой поворот, чтобы в кадр попала и впалая щека, и длинное ухо с бриллиантом в отвисшей мочке.

Миха хрумкал сухариками и размышлял, прилично ли спросить Анну Александровну, почему полковник Трубецкой не вышел на Сенатскую площадь и предал своих товарищей. Но постеснялся.

Анна Александровна тем временем встала и удалилась за ширму. Скрипнула дверца шкафа, и она внесла и поставила на стол объемную шкатулку, обитую золотистым гобеленом, а из нее – драгоценную книгу, изданную в Лондоне, в Вольной русской типографии Герцена в 1862 году, – «Записки декабристов».

– Вот. Руки помойте, носы подотрите и листы переворачивайте с осторожностью. И не все слушайте, что говорят и пишут о декабристах, – она как будто услышала не заданный Михой вопрос. – История у нас в России, вне всякого сомнения, паршивая, но то время было не самым худшим, в нем было место и благородству, и достоинству, и чувству чести. Руки чистые?

Миха почтительно переложил кота с колен на подушку и понесся в ванную отмывать руки, чтобы достойным образом коснуться книжной редкости. Вернувшись, раскрыл книгу на случайном месте и прочитал вслух:

– «Тяжела мысль быть обязанным благодарностью человеку, о котором имел такое худое мнение».

– Ну-ка, ну-ка, дай сюда книгу. – Анна Александровна мельком взглянула на открытую страницу, улыбнулась торжествующе. – Вот о том я и говорю. Это Сергей Трубецкой пишет после допроса. В ночь с четырнадцатого на пятнадцатое декабря он был арестован, и допрашивал его сам государь Николай Павлович. Он ужасался, как мог князь, потомок Гедиминовичей, то есть более знатной семьи, чем сами Романовы, «спутаться с этой дрянью». И в конце разговора сказал: «Пишите жене, что жизнь ваша вне опасности». То есть государь принял решение до расследования! Но Трубецкой-то знал, что вина его велика, и брал на себя все, даже замышляемое цареубийство, против которого был на самом деле решительно настроен.

– Виктор Юльевич говорил, что все декабристы давали показания, все честно рассказывали, потому что думали, что царь их поймет и поменяет свою политику, – уточнил Миха. Ему очень хотелось хорошо выглядеть в таком благородном собрании.

– Да, они говорили правду. Трубецкой каялся на допросах горько, но никого не оговаривал. До вранья они не унижались. Что же касается Сергея Петровича, из многих воспоминаний следует, что в Сибири ссыльные его любили и уважали. Вообще, среди декабристов, насколько я знаю, был только один предатель, капитан Майборода. Он донес о готовящемся выступлении недели за три. Точно не скажу, может, еще один или два были. Но привлекалось-то по делу

больше трехсот человек! Почитайте сами! В конце концов, протоколы допросов опубликованы. Доносительство тогда было не в моде, вот в чем дело! – с нажимом сказала Анна Александровна, но заметил этот нажим только Илья.

– История, надо сказать, с евангельским оттенком. Майборода удавился. Спустя много лет, но...

– Как Иуда! – воскликнул Миха, обнаружив знание Священной истории.

Анна Александровна засмеялась:

– Молодец, Миха! Культурный человек!

Миха осмелел от поощрения:

– Анна Александровна, а кто из декабристов самый... – запнулся, хотел сказать «лучший», но это было бы слишком по-детски, – любимый?

Анна Александровна полистала книгу. В нее было вложено несколько репродукций. Вынула вырезанный откуда-то портрет на пожелтевшей бумаге.

– Вот. Михаил Сергеевич Лунин.

Мальчики склонились над портретом. Они уже видели это лицо – в коллекции Илья. Но там он был молод, пышноус и полногуб, а здесь лет на двадцать старше.

– Смотри, ордена, видишь, вон крест, и еще рядом что-то, не разобрать, – заметил Илья.

– Он был участником кампании восемьсот двенадцатого года. Про ордена я знаю только, что их публично бросили в огонь, когда он был осужден, – Анна Александровна улыбнулась, – но героем от этого он быть не перестал.

– Какие сволочи! – вспыхнул Миха. – Боевые награды – в огонь!

– Да. Его не было в Петербурге, когда произошло выступление. Его доставили в Петербург из Варшавы. Он был один из организаторов Северного общества, но к этому времени уже отошел от заговорщиков. Он считал, что они недостаточно решительно действуют. Лунин планировал царевубийство, но другие его не поддержали. И Трубецкой, выбранный впоследствии «диктатором», был против царевубийства.

– А ведь если бы Лунин тогда их уговорил, то и Октябрьская революция на сто лет раньше свершилась! – глаза у Михи округлились и слегка вылупились от восторга.

Все засмеялись.

– Миха, но тогда она бы была не октябрьской, – отрезвила Анна Александровна Миху.

– Ну да, Анна Александровна, это я не сообразил. А что дальше было с Луниным?

– Михаил Сергеевич после окончания срока каторги был снова арестован, уже за его письма. Там еще было сочинение с разбором донесений, представленных императору Тайной комиссией. Это опубликовано. Вот за это его арестовали второй раз, послали опять в тюрьму, а там он умер. Был слух, что не своей смертью. Вероятно, по приказу императора его убили.

– Какая низость! – воскликнул Миха.

Миха переживал смерть Лунина несколько дней. Написал стихотворение «На смерть героя».

Это была самая красивая, самая героическая страница русской истории, и под руководством Виктора Юльевича именно на ней ребята тренировали ум и сердце.

В сочинении, написанном Михой Меламидом, приведены были строчки из Герцена: «... я был на этом молебствии, и тут, перед алтарем, оскверненным кровавой молитвой, я клялся отомстить казненных и обрекал себя на борьбу с этим тронном, с этим алтарем, с этими пушками. Я не отомстил; гвардия и трон, алтарь и пушки – все осталось; но через тридцать лет я стою под тем же знаменем, которого не покидал ни разу».

Дальше мальчик писал уже своими словами: «Так и остались они не отомщенными до сих пор».

Учитель был растроган Михиным сочинением: вот, его мальчик нащупал эту точку перехода, нравственный кризис ровесника, жившего сто с лишним лет тому назад.

Нет, жизнь, конечно, шире, чем волнующие знания о декабристах. В частности, надвигался Новый год, главный праздник, единственный не казенный, не краснознаменный, вполне человеческий праздник с реабилитированной елкой, легитимной выпивкой (для взрослых!), подарками и сюрпризами.

В этот год не было никаких эпидемий, и все ожидали с великим нетерпением новогоднего вечера. За две недели до назначенного на тридцатое декабря школьного праздника всех охватило волнение: вот-вот свершатся все любовные замыслы.

Это был первый вечер с девочками, и они пришли без форм, наряженные – в платьях и кофточках, цветные, как бабочки, некоторые – с распущенными волосами. Учительницы тоже принарядились. Виктор Юльевич с некоторым умилением отметил, что волнение праздника охватило всех без исключения. Даже директриса Лариса Степановна надела туфли на каблуках и пришила к воротнику брошку в виде разляпистой бабочки, существа, не имевшего к ней ни малейшего отношения.

Вечер старшеклассники готовили так долго и тщательно, с намерением не упустить ничего из арсенала разрешенных развлечений, что проект в течение декабря постоянно менялся. Сначала задумали устроить костюмированный бал, потом перерешили – пусть бал будет не костюмированный, зато с хорошо подготовленной самодеятельностью. Обсуждалось даже предложение пригласить настоящий оркестр, но оказалось не по деньгам. Может быть, капустник или, наоборот, культурная программа с Шубертом в исполнении Наташи Мирзоян и чтением стихов? Или какое-нибудь театральное действо?

Как всегда при таком изобилии замыслов, взяли всего понемногу, и всё вразнобой. Те, кто желал прийти в костюмированно-карнавальном виде, нацепили на себя что-то нелепое и смешное. Катя Зуева, в соответствии с давно вынашиваемым планом, явилась в виде почтальона, с кондукторской сумкой, изображавшей почтальонскую. На груди висела выкрашенная бронзовкой картонка с цифрой «5», изображавшая медную бляшку, но вместо синей форменной фуражки – треуголка из газеты. На спине для совсем уж недогадливых была привешена синяя картонка с белой надписью «Почта». Ее подруга Аня Филимонова вырядилась цыганкой: цветастая юбка, кольца в ушах, самодельное монисто и большая шаль, которую мать вытащила из сундука и велела беречь – старинная. В руках она держала колоду карт, которую собиралась пустить в ход и гадать всем желающим. Но застенялась. Сначала она вообще не хотела рядиться, но Катя ее уговорила: ей нужна была поддержка.

Еще был запланирован стихотворный монтаж и гимнастическая пирамида «ёлка», которую разучила секция гимнастики в полном составе. Двенадцать человек, залезая друг на друга, должны были изобразить елку с игрушками.

Преподаватель труда хромой Иткин надел на пиджак орденские планки, а физкультурник Андрей Иванович впервые появился не в обычной «мастерской» фуфайке синего цвета на молнии, а вырядился в белый свитер. Оба благоухали одеколоном – трудовик «Тройным», физкультурник «Шипром». Заводили пластинки со старыми песнями, танцевать под которые могли бы только дрессированные медведи в цирке. Когда же зазвучала «Риорита», девочки стали перебирать ногами, но выйти в середину зала никто не решался до тех пор, пока физкультурник не пригласил старшую пионервожатую. Так они и протанцевали эту «Рио-Риту» единственной парой под неодобрительные взгляды более старших товарищей. Спасла положение высокоорганизованная девятиклассница, член комитета комсомола Тася Смолкина, которая объявила несколько общих игр – «ручеек» и «кольцо» для тех, кто помоложе, и «почту» для тех, кто связывал любовные надежды с этим балом.

Почтальон Катя Зуева раздала номерки, все начали писать записки. Катя сновала по залу, разнося почту. Виктор Юльевич стоял у окна, выбирая момент, чтобы ускользнуть в учительскую покурить. Когда он шел к выходу, почтальонша перехватила его и вручила сразу два письма. Он сунул их в карман. «Я вас люблю» – было написано в записке без обратного адреса. «Любите ли вы прозу Пастернака?» – во втором, присланном от номера 56.

Виктор Юльевич спустился в учительскую, где две молоденькие учительницы начальной школы – одна хорошенькая, вторая так себе – шептались и хихикали точно как восьмиклассницы. Видно, что и они от этого праздника ожидали каких-то женских радостей, свою долю небольшого счастья.

Виктор Юльевич порвал любовную записку, обрывки бросил в пепельницу. Старшеклассницы разделились на два лагеря – часть обожала Виктора Юльевича, другая, меньшая, предпочитала физкультурника. Литератор развернул вторую записку – написано было круглым девичьим почерком, твердым грифелем, очень бледно. Принял вызов, написал ответ: «Кроме “Детства Люверс”», свернул, надписал адрес «56» и задумался: ему казалось, что в русской литературе нет ничего о детстве девочек. Как же он забыл об этой ранней повести Пастернака? Он читал ее еще до войны, совсем мальчишкой, и она ему тогда не понравилась своей путаностью, зыбкостью, невозможностью ухватить конструкцию, излишеством слов. Но ведь это была единственная в русской литературе, кажется, книга о детстве девочки. Как он упустил ее из виду? Там было все, что сегодня его занимало: пробуждение сознания, психологическая катастрофа не предвещенной о грядущем огромном физиологическом событии девочки и первое переживание смерти! Ему захотелось немедленно, сию минуту ее перечитать. В его домашней библиотеке прозы Пастернака не было. Наверное, надо поискать в Ленинке...

Виктор Юльевич пошел в зал, сунул подскочившей Кате-почтальонше записку. Он пропустил гимнастическую пирамиду и Шуберта. Музыка упала до нуля – закончился вальс. Зашаркали к пристенным местам. И неожиданно ярко, среди пыльной тишины раздался звон пощечины. Все обернулись. Посреди зала стояла рослая пара – Аня Филимонова в своем нелепом цыганском обличье и Юра Буркин. Аня прижимала к груди снятую шаль. Юра прижимал руку к щеке, где зрел след волейбольной ладони его решительной дамы.

Сцена, достойная Гоголя. Но занавес не давали. Все замерли, ожидая развития сюжета. И сюжет завершился – Юра отнял от щеки руку, слегка отвел ее в сторону и шлепнул по лицу с чмокнувшим поцелуйным звуком свою партнершу.

Раздался всеобщий тихий «ах!», Катя кинулась к подруге, всё пришло в движение, все заволновались. Зарыдала на плече Кати побагровевшая Аня. Сквозь рыдания прорывалась басовитая прерывистая жалоба:

– Он... он... высморкался... в шаль!

Юра выскочил из зала. Катя огляделась.

– Неужели нет никого, кто вступится за честь... – Она была бледна, свирепа, и видно было, что она и сама готова разорвать обидчика. Весь год они только и говорили, что о благородных мужчинах и прекрасных дамах!

Миху вынесло из зала как на крыльях. Он настиг Юрку в мужской уборной. Тот дрожащими руками раскуривал отцовскую папиросу, которую стырил у него вчера вечером. Он вообще-то не курил – его от курева тошнило. Он с шестого класса все пробовал, но никак не мог научиться. Но курение ему нравилось само по себе, и в данный момент он предчувствовал, что его не затошнит.

Миха вырвал из его рук папиросу, сломал ее надвое, отшвырнул в сторону и холодно, спокойно, с презрением в голосе произнес:

– Дуэль! Я вызываю на дуэль!

Хотелось сказать «вас», но было бы уж слишком глупо. А «тебя» почему-то тоже не годилось.

– Миха, ты что, охренел? Она просто шуток не понимает, дура. Цыганка-засранка! Какая дуэль?

– Стреляться мы не можем, нет пистолетов. И вообще никакого оружия нет. Бой будет на кулаках, но по всем правилам!

– Ты что, Мих, охренел?

– Еще и трус. Мало того, что хам, – горестно произнес Миха.

– Ну ладно, если ты так хочешь, – неохотно, но вполне миролюбиво согласился Юрка. – А когда?

– Сегодня.

– Да ты что, Миха, полдесятого уже.

Миха использовал все свои организаторские способности, и дуэль состоялась через час в Милютинском саду.

Десятиклассники отговаривали Юрку, девятиклассники – Миху. Правила дуэли импровизировали на ходу.

Юрка всю дорогу ныл:

– Миха, ну на фига тебе это мордобитие? Мне домой пора, меня отец ругать будет, мать небось уже в школу побежала.

Но Миха был непреклонен:

– Дуэль! До первой крови!

Илья с Саней переглядывались, перемигивались, даже тихонько пересмеивались. Саня шепнул ему: «Христосик наш!»

Секундантами были Илья у Михи, Васька Егорочкин у Юрки. Снегу в саду намело много, секунданты утоптали небольшую площадку для боя. Саня предложил дуэлянтам надеть кожаные перчатки, но такой роскоши ни у кого не было. Саня почему-то был уверен, что нельзя драться голыми руками:

– Древние греки кожаными ремнями руки оборачивали!

Откуда это он взял? Но говорил уверенно. Ремней было сколько угодно. Секунданты вытащили ремни из брюк, сцепили два по два и положили на снег, вместо барьера. Теперь дуэлянты должны были сходиться по счету и начинать на счет «три».

Дуэлянты обмотали руки школьными ремнями, но пряжкой внутрь. Было очень неудобно.

– Может, без ремней? – с надеждой предложил Юрка.

Миха не удостоил его ответом.

Илья предложил Буркину принести свои извинения.

Миха резонно отверг это предложение:

– Извиняться надо перед дамой.

Юрка обрадовался:

– Да за ради бога! Хоть сейчас!

Ввиду отсутствия дамы перемирие было отклонено.

Миха снял очки и передал их Сане. Сбросили пальто.

– Может, хватит уже? – шепнул Саня.

– Держи! – неожиданно рявкнул распаленный Миха.

Илья начал считать. На счет «три» они сошлись.

Они стояли друг перед другом, плотный Юра, Миха пожиже, но и позлей. Миха подпрыгнул на месте и сразу двумя кулаками, почти одновременно неловко и небольно вlepил Юре по лицу.

Юра наконец обозлился. Нанес один-единственный удар по носу. Первая кровь немедленно хлынула. Саня застонал, как будто ударили его, и вынул чистый носовой платок. Удар

был не столько сильный, сколько точный. С этого времени Михин нос был немного сбит на одну сторону. Болело долго. Вероятно, это был все-таки перелом.

Дуэль можно было считать завершенной.

В это же время, когда школьники разошлись, пара молоденьких учительниц с Андреем Ивановичем культурненько заканчивали скромную выпивку, а в раздевалке оставалась только гардеробщица и уборщица, которая иногда, когда муж сильно запивал, ночевала в подсобке. Катя Зуева, уже без газетной треуголки, в коричневом пальто с надставленными черным драпом рукавами и подолом, сидела на стуле гардеробщицы, дожидаясь Виктора Юльевича.

Когда он спустился в раздевалку, она протянула ему записочку:

– Вам письмо.

Он с недоумением посмотрел на нее – уже забыл про игру.

– А-а-а, да-да, спасибо, – и рассеянно положил в карман пальто.

Нашел он этот клочок бумаги в кармане утром следующего дня:

«Я могу вам дать его новый роман. Хотите? Катя».

Он не сразу вспомнил, о чем идет речь.

Третьего января Катя ему позвонила и, все еще немного исполняя роль почтальона, принесла отпечатанную на машинке рукопись.

Новый роман Пастернака назывался «Доктор Живаго». Первые же страницы – до похорон Марии Николаевны Живаго – глубоко поразили Виктора Юльевича. Это было продолжение той русской литературы, которая казалась ему полностью завершенной, совершенной и всеобъемлющей. Оказалось, что эта литература дала еще один побег, современный. Каждая строка нового романа была о том же – о мытарствах человеческой души в пределах здешнего мира, о возрастании человека, о гибели физической и победе нравственной, словом, «о творчестве и чудотворстве» жизни.

Все каникулы Виктор Юльевич был полностью погружен в роман Пастернака. Он очарован был стихами, так неуклюже и необязательно прицепленными в конце – узнаваемо пастернаковскими, в то же время новыми по простоте. Это была, по всей видимости, та самая «неслыханная простота», о которой поэт давно уже грезил...

Дочитав до конца, начинал сначала. Он находил в нем всё новые драгоценности мысли, чувства и слова, но одновременно отмечал слабости, и слабости ему были тоже симпатичны. Они толкали к размышлениям. Схематичная Лара, постоянно совершающая поступки, свидетельствующие о ее глупости и себялюбии, не нравилась Виктору Юльевичу. Зато как она нравилась автору!

Виктор Юльевич сомневался, нужны ли такие нагромождения случайностей, совпадений и неожиданных встреч, пока не понял, что все они изумительно завязываются в сцене смерти Юрия Андреевича, в параллельном движении трамвая с умирающим Живаго и мадемуазель Флери, неторопливо шествующей в том же направлении, к освобождению – один покидал землю живых, вторая покидала землю своего рабства.

«Великий постскрипtum к русской классической литературе», – вывел Виктор Юльевич свое заключение.

Десятого января, в последний день каникул, Виктор Юльевич позвонил Кате. Они встретились около магазина «Ткани» на Солянке. Он поблагодарил девушку за огромное счастье, которое она ему доставила.

– Я сразу, как только прочитала роман, поняла, что есть человек, которому надо его дать.

После чего она выложила ему то, о чем бы он ни в коем случае ее не спросил: откуда взялась рукопись.

– Моя бабушка дружит с Борисом Леонидовичем чуть не всю жизнь. Она его роман перепечатывала. Это бабушкин экземпляр.

Виктор Юльевич накрыл горячей рукой болтливый рот:

– Никогда и никому этого не говорите. И мне вы этого не говорили.

Он держал ладонь на ее губах, и они чуть-чуть двигались, как будто что-то шептали беззвучно.

Ей только что исполнилось семнадцать лет. Она едва вышла из детства, в ней еще проглядывали ухватки ребенка. Длинная голая шея торчала из пальто. Шарфа не было. Шапка была детская, капором, с завязками под подбородком. В светло-карих глазах – обида, слезная влага.

– Я же никому – только вам. Я знала, что вам понравится. Ведь правда?

– Не то слово, Катя. Не то слово. Такие книги меняют жизнь. Я вам благодарен по гроб жизни.

– Правда? – ресницы взметнулись, глаза вспыхнули.

Господи, да это же Наташа Ростова! Вылитая Наташа Ростова!

Перехватило дыхание.

После окончания Катей школы они поженились. Первыми об этом узнали, конечно, «люрсы». Они были в восторге. Катин живот к сентябрю был заметен внимательному глазу, и он вызывал у «люрсов» дополнительное восхищение.

Это событие сблизило их с учителем настолько, что после заседаний кружка они, случалось, совместно распивали бутылку хорошего грузинского вина, которое не переводилось в доме Виктора Юльевича. Даже стали звать его Викой – уже не за глаза. И он не возражал, сохраняя в общении старомодное и уважительное «вы».

Заседания кружка любителей русской словесности по-прежнему проходили в комнате Ксении Николаевны, но жил Виктор Юльевич теперь в квартире Катиного родственника, уехавшего на север и оставившего им в пользование квартиру у метро «Белорусская», в доме железнодорожников, окнами на пути и с круглосуточным аккомпанементом: поезд отправляется, поезд прибывает...

Последний бал

Это были лучшие годы Виктора Юльевича: увлекательная работа, поклонение учеников, временно счастливый брак. Образовался даже известный недостаток – теперь два вечера в неделю он частным образом репетиторствовал.

Работал он очень много, но «люрсы» по-прежнему собирались у него по средам. Выпуск пятьдесят седьмого года был у Виктора Юльевича любимым, у них он с шестого класса был классным руководителем, знал пап-мам, бабушек-дедушек и братьев-сестер. Разница в возрасте в пятнадцать лет уже начала сокращаться: мальчики становились молодыми мужчинами, да и женитьба учителя на их сверстнице уменьшала расстояние.

Конец пятьдесят шестого года ознаменовался рождением дочки – первого декабря Катя родила восьмимесячную девочку, двухкилограммовую крошку, очень складненькую. Назвали ее Ксенией, в честь бабушки. Но даже этот дипломатичный ход не смог залатать сердечной раны Ксении Николаевны, полученной от женитьбы сына. Она не допускала мысли, что другая женщина будет готовить Вике завтрак, разговаривать с ним по вечерам, ждать его из школы, будить по утрам. К тому же она испытывала к Кате особую неприязнь – химическая реакция крови, взаимоотношения свекрови и невестки! – считала, что малолетка его оболестила, совратила, обманула, словом, вынудила к женитьбе.

Педагогический коллектив придерживался на этот счет другого мнения. Учительская чуть не взорвалась от слухов, пересудов и сплетен, которые в среде учителей, вернее учительниц, были особенно злыми и грязными. А уж когда родилась дочка, педагогический состав зашелся от подлого счастья. Преподавательница математики, Вера Львовна, загибая пальцы, наглядно продемонстрировала в учительской, в каком именно месяце третьей четверти должна была Зуева забеременеть, чтобы родить в декабре.

Парторг Рыбкина, она же завуч, советовалась с вышестоящим руководством и по линии роно, и по райкомовской линии, что делать с учителем-преступником, потому что налицо был факт растления несовершеннолетней. С другой стороны, малолетка за истекшие месяцы стала совершеннолетней, и одновременно нарушитель уголовного законодательства оформил брак. Но не оставлять же без наказания?

Учителя дружно и напряженно замолкали, когда Виктор Юльевич входил в учительскую. Руководство школы, ее святая троица – директор, парторг и профорг, – сначала было хотели собрать педсовет по этому поводу. Но Лариса Степановна предпочла провести предварительный зондаж начальства. Докладные были написаны в роно и в райком партии.

Именно в эту последнюю школьную зиму Виктор Юльевич начал писать книгу, к которой несколько лет готовился. Уже и название родилось – «Русское детство». Его не особенно заботил жанр книги: сборник эссе или монография.

Он не претендовал на открытие, но отчетливо понимал, что интересы его лежат между разными дисциплинами: возрастной психологией, педагогикой, антропологией в самом широком смысле слова. При этом логика его мысли выстраивалась скорее по тем законам, которыми пользовались медики и биологи. Здесь сказывалось влияние друга Колесника.

Он описывал, как ему представлялось, зону нравственного пробуждения подростка, которая в норме является таким же обязательным этапом, как прорезывание зубов, гулянье, как первые шаги, совершающиеся в исходе первого года. То есть вся та волнующая и рутинная последовательность развития человека, которую он наблюдал теперь у себя дома.

Так начинают. Года в два
От мамки рвутся в тьму мелодий,

Щебечут, свищут – а слова
Являются о третьем годе...

Эта поэтическая модель Пастернака была для него убедительней всех выкладок возрастной психологии. Нравственное созревание представлялось ему столь же закономерной особенностью человека, как и биологическое, идущее параллельно. Но пробуждение происходит по-разному, и зона эта сильно варьирует в зависимости от индивидуального склада и некоторых других причин. Нравственное пробуждение, или «нравственная инициация», как он полагал, происходит у мальчиков в возрасте от одиннадцати до четырнадцати лет, обычно при наличии специальных неблагоприятных обстоятельств – несчастье или неблагополучная семейная жизнь, унижение достоинства личного или достоинства близких людей, потеря родного человека. Словом, переворачивающее душу, пробуждающее ее событие. У каждого человека имеется своя собственная «болевая точка», и именно с нее и начинается эта персональная революция личности. Почти обязательным в этом процессе, по мысли Виктора Юльевича, оказывается присутствие «инициатора» – учителя, наставника, старшего друга, а если родственника, то достаточно дальнего. Как и в случае с крещением, в обычных условиях, вне опасности для жизни, кровные родители редко бывают восприимчивыми. В исключительных случаях таким «инициатором» может послужить даже вовремя пришедшая в руки книга.

Далее, после всестороннего анализа этого явления, автор описывал несколько случаев инициации такого рода, почерпнутых из русской классической литературы, рассматривал созревание современных подростков и анализировал причины столь позднего созревания, и, что самое существенное, отмечал катастрофическую тенденцию «избегания инициации».

Виктору Юльевичу приходило также в голову, что именно в этом возрасте у лютеран и англикан происходит процесс конфирмации, то есть «подтверждения», осознанного принятия веры, еврейские мальчики проходят «бар-мицву», принятие в сообщество взрослых, а мусульмане совершают обрезание. Таким образом, оказывалось, что сообщества людей религиозных придают особое значение этому переходу от детства во взрослое состояние, в то время как мир атеистический полностью утратил этот важнейший механизм. Нельзя же всерьез считать его заменой вступление в пионерскую или комсомольскую организации.

Общество опускается ниже нравственного минимума, когда число не прошедших в ранней юности процесс нравственной инициации превышает половину популяции, – такая точка зрения сложилась у Виктора Юльевича в ту пору.

У него возникли серьезные разногласия с покойным Выготским по части формирования и смены культурных интересов, но это не имело большого значения: возрастная психология была «закрыта» вместе с генетикой и кибернетикой. Собственно, никаких надежд на публикацию своей будущей книги Виктор Юльевич не питал. Но какое значение могли иметь эти прагматические соображения, когда жизнь летела на огромной скорости, и в ней было все, о чем можно мечтать: творчество, чудесная юная жена с той самой пленкой с желтым пятном, крохотный ребенок с удивительными пальчиками, губками, глазенками, маленькое животное, с каждым днем все более очеловечивающееся, ученики, своим восхищением поднимающие его на невиданную высоту. Улыбался во сне, улыбался, просыпаясь.

Страна тем временем жила своей безумной жизнью – после невидимой свары у гроба Джугашвили, тайной борьбы за власть, после возвращения первых тысяч лагерников и ссыльных, после необъяснимого, неожиданного XX съезда партии, – начались и окончились венгерские события.

Виктор Юльевич, погруженный в свое новое состояние, следил за происходящим вполглаза. «Внутренняя часть» жизни в этот период оказывалась важнее «внешней».

В сентябре, в первые дни занятий, старшая пионервожатая Тася Воробьева, симпатичная студентка-вечерница пединститута, с которой у Виктора Юльевича были хорошие отношения, сунула ему пачку «слепых» листочков с перепечаткой доклада Хрущева на XX съезде партии. Хотя прошло уже полгода с момента выступления, до сих пор он не был нигде опубликован. Этот полуправдивый и опасливый доклад распространялся только по высшим партийным каналам, рядовые партийцы получали сведения на закрытых собраниях, со слуха. Текст шел под грифом «Для служебного пользования», не для рядовых. Это была все та же советская фантазмагория. Секретный доклад для одной части народа, который он должен хранить в тайне от другой. Государство с поврежденным рассудком.

Виктор Юльевич внимательно прочитал этот текст, о котором так много говорили. Интересно, очень интересно. История вершится на глазах. Тиран пал, и через три года свора осмелела поднять против него голос. Где вы раньше были, такие умные? Документ, в сущности, великий по своим последствиям, был одновременно страшным и разоблачительным для партийного руководства страны. Этот перепечатанный доклад, ходивший по рукам, стал первым подпольным изданием самиздата, который в те годы еще не обрел своего названия.

Перепечатка доклада Хрущева уже ходила по Москве, а для рукописи «Доктора Живаго» час еще не пришел. Зато хождение начали стихи из романа.

«Странное дело, – размышлял Виктор Юльевич, – как во времена Пушкина, ходят по рукам стихотворные списки. Какая перемена! Глядишь, и сажать перестанут!»

Окоченевший от страха народ оживал, шептался смелее, ловил «враждебные» голоса, печатал, перепечатывал, перефотографировал. Пополз по стране самиздат. Это подпольное чтение еще не утвердилось как новое общественное явление, каким станет в последующее десятилетие, но перепечатанные смельчаками бумажки уже шуршали по ночам в руках жадных читателей.

Хрущев так все перебаламутил этим разоблачением культа личности Сталина, что вместо прежней ясности возникло нечто непонятное. Все замерли в ожидании. Судьба учителя литературы, который женился на своей ученице и произвел ребенка не совсем по расписанию, все не решалась, несмотря на все усилия школьного руководства.

В конечном итоге дело было рассмотрено. Роно оказалось более требовательным, чем райком. Было принято решение об увольнении, но спохватились, что прежде он должен «довести» выпускников. Чтобы не спугнуть учителя, о планирующемся увольнении решено было ему пока не сообщать – да и в самом деле, если он уйдет посреди года, то кем же его заменить? До Виктора Юльевича постоянно доходили какие-то неопределенно-неприятные слухи, но он к этому времени и сам решил уходить, как только закончит учебный год.

К весне пятьдесят седьмого кружок любителей русской словесности превратился в репетиторскую группу по подготовке к экзаменам – три четверти класса собирались на филфак. Миха регулярно ходил на эти занятия, хотя по литературе был в классе первым. Он знал, что евреев на филфак не берут, но знал также, что ничего другого ему не нужно.

Старший двоюродный брат Михи, Марлен, дразнил его, предлагал помочь с поступлением в рыбный институт, уверял, что рыба для еврея гораздо более пристойная профессия, чем русская литература, и выводил этим Миху из себя.

К весне слух о том, что Виктора Юльевича собираются выгнать из школы, дошел до десятиклассников. Говорили, что учителя написали на него какую-то кляузу, связанную с женитьбой на бывшей ученице. Ребята готовы были куда угодно идти и писать, чтобы защитить любимого учителя. Ему не без труда удалось внушить им, что он и сам собирается уходить из школы, давно хочет заниматься научной работой, писать книги, и уж они-то могли бы понять, как надоели ему школьные тетрадки, тетki, политинформации и все эти хренации, и только из-за них, своих любимых «люрсов», он не ушел из школы сразу же после женитьбы.

– Тем более, – добавлял он, – я свою замену вырастил. Сами знаете, сколько преподавателей литературы даст наша школа через несколько лет.

Это правда. С тех пор как он работал в школе, половина каждого выпуска шла на филфак – кто в университет, кто в педагогический институт. Девочки послабее шли в библиотечный, в архивный, в институт культуры. Небольшая, но славная армия ребят была обучена редкому искусству читать Пушкина и Толстого. Виктор Юльевич был убежден, что его дети тем самым получили достаточную прививку, чтобы противостоять мерзостям нашей жизни, свинцовым и всем прочим. Тут он, возможно, ошибался.

Гораздо более, чем последними экзаменами, «люрсы» были увлечены подготовкой к выпускному вечеру. Затевался грандиозный спектакль. Заранее было объявлено, что никакого алкоголя не разрешается. С одной стороны, запрет этот можно было легко обойти, с другой – никого это особенно не волновало. Главное, всем было ясно, что прощание со школой было расставанием с Виктором Юльевичем, и прощание это было удвоено тем, что сам Виктор Юльевич покидает школу вместе со своим выпускным классом, о чем он им успел сказать.

Ребята держали в секрете свои приготовления, но Виктор Юльевич догадывался о широкомасштабности предстоящего события, поскольку до него дошло, что несколько мальчишек вместо усиленной подготовки к экзаменам проводят дни и ночи в мастерской скульптора Лозовского, отца Володи Лозовского, и строят там нечто грандиозное.

Илья увеличивал фотографии и делал теньевые картинки, которые проецировались на стенку. Это была оригинальная сценография, никем до него не придуманная.

Миха, отодвинув в сторону учебники, писал пьесу в стихах. Там был миллион действующих лиц, от Аристофана до Иванушки-дурачка, от Гомера до Эренбурга.

Когда выпускные экзамены были успешно сданы, настал день выпускного бала. Это ежегодное торжество имело свои устоявшиеся каноны. Девочкам шили платья, даже белые. Они сооружали на головах парикмахерские прически, красили ресницы, и капроновые чулки в этот день тоже были разрешены.

Это была генеральная репетиция будущего первого бала, который у большинства никогда не состоится, ложное обещание грядущего сплошного праздника жизни, которого тоже не будет, расставание со школой, которое для всех без исключения было событием радостным, но в этот день окрашивалось фальшиво-печальными красками.

На выставленных сплошными рядами стульях сидели родители, главным образом мамы, тоже принаряженные и не менее взволнованные, чем их дети.

Когда сложная рассадка почти закончилась, случился неприятный инцидент. Два девятиклассника, Максимов и Тарасов, затесались в толпу выпускников и намерены были совершенно контрабандно ухватить кусок не причитающегося им праздника. Их вывели с позором, и они оскорбленно удалились. Предполагалось, что они покинули здание школы.

Началась торжественная часть. Вручали аттестаты зрелости и произносили речи. Начали вручение с медалистов – их было в тот год четверо – три серебра и одно золото. Золотую медаль выслужила Наташа Мирзоян, восточная красавица и подлиза. Серебряные – Полуянова, Горшкова и Штейнфельд по прозвищу «Благодаряк», который получил его еще в младших классах за особенности речи: вместо общепринятого, но малоупотребляемого «спасибо» он говорил «благодарю».

«Трианон» до медальных высот не поднялся. Учились все прилично, но отличниками сроду не бывали.

После торжественной части произошла заминка. По плану должен был идти спектакль, но по десяти разным причинам дело не ладилось, нужно было как минимум сорок минут, чтобы собрать по кускам разваливающееся действие. Пустили музыку. Но для танцев вдохновение

еще не пришло, и все немзыкально слонялись. В соседнем классе спешно пришивали последние цветы к венкам, накладывали грим и доучивали тексты.

Виктор Юльевич беседовал около окна с одной из родительниц. Заметил, что от двери машет рукой Андрей Иванович и делает знак – выйти!

Оказалось, что изгнанные из зала Максимов и Тарасов отнюдь не покинули помещение школы, а, напротив, забрались на чердак и распилили там бутылку портвейна. На выходе с чердака они были взяты с полочным и доставлены в кабинет директора. Оба были пьяны, и это видно было невооруженным глазом.

Виктор Юльевич вошел, и директриса театрально обратилась к нему:

– Вот, полюбуйтесь, наши ученички!

Вид у тех был такой жалкий, что, ясное дело, они больше нуждались в утешении, чем в наказании.

Виктор Юльевич взял со стола директрисы пустую бутылку, повернул ее, рассматривая этикетку:

– Да, достойно порицания. Страшная гадость.

Директриса вела свою партию:

– Значит, так, родители ваши сейчас за вами придут, и это будет отдельный разговор. А вот если вы не скажете, кто там еще вместе с вами на чердаке безобразничал, будете из школы исключены!

Не было с ними никого, но Ларисе Степановне помстилось, что там была целая компания.

– Что ты смотришь на меня, Тарасов, наглыми глазами? К тебе, Максимов, это тоже относится. Называйте, называйте фамилии ваших сообщников. И не думайте, что вы их выгородите и им сойдет. Все равно найдем. Только себе хуже сделаете.

– Да, нехорошо, – кисло произнес Виктор Юльевич. – А где брали-то?

– В сотом гастрономе, – охотно ответил Максимов.

– И что же, дома у вас тоже этот портвейн пьют?

– Да мать вообще не пьет, – солгал Максимов.

Это мутное разбирательство длилось до тех пор, пока не приехал на служебной машине отец Тарасова, подполковник МВД. Лариса Степановна изложила ему сюжет. Тот стоял, наливаясь злобой.

– Разберемся, – хмуро сказал подполковник, и ясно было, что парню не поздоровится.

– А твоя мать когда придет? – Ларисе Степановне, видимо, тоже наскучило затянувшееся и бесплодное объяснение, тем более что ее место сейчас было в зале.

– Мать к тетке в Калугу поехала.

Работа мысли отражалась на лице Ларисы Степановны.

– Я возьму его под свою ответственность, а концерт кончится, отведу его домой. От греха подальше, а то ненароком в милицию заберут. – Виктор Юльевич положил левую руку на плечо Максимова.

– Идите, – махнула рукой. – И без матери, Максимов, в школу не приходи.

Замечание это не имело ровно никакого смысла, поскольку занятия уже закончились, а до следующего учебного года было три месяца каникул.

Виктор Юльевич привел бедолагу Максимова в зал, указал на стул:

– Сидите, Максимов, тихо и не привлекайте внимания.

Максимов благодарно кивнул. Мать ни в какую Калугу не поехала, к ней хахаль из Александра притащился, и они дома выпивали.

Миха, готовя спектакль, пытался зарифмовать все свои обширные знания в области литературы. Будущие актеры тоже творчески отнеслись к Михиному сочинению, им тоже было что добавить к шедевру, и сценарий достиг двухсот страниц.

Недели за две до вечера, в самый разгар экзаменов, когда все зубрили алгебру и химию, Илья взял Михину либретку, постриг все в мелкую лапшу, как-то перетасовал, и образовался сюжет, который первоначально даже не прощупывался, а теперь получилось смешное путешествие группы идиотов с их подлинными именами, готовых вот-вот влететь в неприятность, из которой они выпутываются исключительно благодаря вмешательству высших сил, которые представляет Виктор Юльевич в разных обличьях, от Зевса до постового милиционера.

Виктора Юльевича изображал Сеня Свиньин, лучший в классе актер. Он, между прочим, и собирался в театральное училище. Ему сварганили довольно удачную маску из папье-маше, изображающую учителя, правую руку он не вдел в рукав, а рукав завернули до половины и пришили.

Глупо все это было до изумления, но и безумно смешно. Статуя Зевса падала, разбиваясь на куски, из обломков вылезал, отряхиваясь, Свиньин-Шенгели, Александр Сергеевич Пушкин искал какой-то потерянный предмет, и в конце концов оказывалось, что он ищет стройную ножку, и штук пятьдесят манекенных ножек с вытянутыми вверх носками проплывали по сцене, чеховское ружье в виде деревянной винтовочки для дошкольников попадало в руки тургеневских охотников и стреляло, и тряпочная чайка с отвратительным криком падала на середину школьной сцены...

И вся эта фантазмагория крутилась конечно же вокруг дорогого Юлича.

Санечка Стеклов в кудрявом парике и бархатном халате сидел за пианино и доводил своим сопровождением до блеска те места, где не совсем блистал текст.

Потом хором спели гимн, сочиненный, разумеется, все тем же Михой, и было бы непростительным упущением его не привести:

Он многорук и многоглаз,
От смерти каждого из нас
Он хоть единожды, да спас,
И потому идет рассказ
Начистоту и без прикрас,
Да, Виктор Юльевич, про вас!
Вы показали высший класс,
Что в жилах кровь течет, не квас,
Зовите, и в единый час
К вам соберется весь наш класс,
И от болот и до пампас
Сопроводять мы будем вас,
Куда б вы нас ни повели,
Хотя б на край земли.

Когда пение закончилось, в зале не было ни одного преподавателя. Все удалились в учительскую и тихо возмущались: нанесено оскорбление! По этой причине они не увидели заключительной сценки представления – ребята сбились в кружок и стали обсуждать, что бы им подарить на расставание любимому учителю. Были заслушаны разные более или менее комические предложения. Решено было, что дарить надо лучшее из возможного, что подарок должен быть безусловно ценным и «нерасходным», то есть ни съесть, ни выпить. А также полезным. И доставлять удовольствие! Наконец втащили на сцену огромную, в человеческий рост, коробку, сняли переднюю крышку, обнаружилась гипсовая скульптура – стройная девушка в тунике. Она довольно натурально стояла в положенной античной позе, пока ей не скомандовали:

– Вперед!

Статуя ожила. Это была покрытая побелкой Катя Зуева-Шенгели. Надо сказать, что они долго уговаривали ее сыграть эту роль.

Она прошла через зал и под аплодисменты села у ног Виктора Юльевича.

...Из зала выносили лишние стулья, накрывали столы. Учителей видно не было. Виктор Юльевич отправился в учительскую, чтобы попытаться «сломать» забастовку педагогического состава.

Его ждали. Лариса Степановна вышла вперед:

– От имени учительского коллектива, Виктор Юльевич, мы вынуждены вам сообщить... – начала торжественно директриса.

Но Виктор Юльевич быстро сообразил, что именно ему сейчас скажут. И он сделал первое, что пришло ему в голову. Он вытащил из кармана пиджака очешник, вынул старомодные очки в металлической оправе, надел на свой длинноватый, правильно нарисованный нос, приблизился к Ларисе Степановне, склонился к ее знаменитой брошке-бабочке, прицепленной к белому воротничку, и сказал умильным голосом:

– Ой, какая прелесть! Какой миленький поросенок!

– Вон отсюда! – хрипло и тихо произнесла Лариса Степановна.

«Побагровевшим от ярости голосом», – подумал литератор.

Из зала послышалась музыка.

– Да что вы так нервничаете? Пойдемте, выпьем лимонада и потанцуем! Ребята вас ждут!

Он улыбался своей обаятельной улыбкой, а про себя думал: «Сукин же я кот! Напрасно я их так унижил. А Лариса Степановна, бедняжка, у нее губки углами вниз, как у обиженной девочки. Того и гляди зарыдает... Какие же они плохие дети... но что теперь делать – не прощения же просить!»

На столе Ларисы Степановны лежал приказ об увольнении.

Она собиралась предъявить его в конце вечера. Было самое время. Дрожащей рукой она нашарила на столе судьбоносную бумагу:

– Вы уволены!

В дверь учительской стучали. «Люрсы» искали своего учителя. Если говорить с полной откровенностью, у них тоже было кое-что заготовлено. Не плохой портвейн, а хорошее грузинское вино.

Дружба Народов

Шел пятьдесят седьмой год. Москва трепетала перед Всемирным фестивалем молодежи и студентов, который должен был вот-вот открыться. Выпускники готовились к поступлению в институт. Перейдя из простой молодежи в категорию студентов, кроме благ образования, они получали освобождение от службы в армии. Все вкалывали с утра до ночи, каждый день Виктор Юльевич занимался с абитуриентами. К своим частным ученикам он присоединил несколько «своих», бесплатных.

«Трианону» армия не грозила. Илья обладал исключительным даром плоскостопия, Миха был близорук, Саня, со своими скрюченными пальчиками, тоже в автоматчики не годился. Словом, все они имели небольшие дефекты, освобождающие от воинской повинности. Илья занимался лениво, Саня, подавший документы по совету бабушки в иняз, не занимался вообще, валялся на диване, слушал музыку и читал книжки, даже иностранные. Хуже всего дело обстояло у Михи: евреев на филфак не брали, а он определился окончательно и бесповоротно – только туда. Кроме всего прочего, он был единственный, кто всерьез думал о стипендии. Родственная помощь обещана была до окончания школы. Конечно, на крайний случай можно было пойти на вечерний, но так хотелось пожить настоящим студентом.

– Я вообще не понимаю вашей гуманитарной страсти. Одно дело – книги читать, понимать, что там написано, удовольствие от них получать, но почему надо делать из удовольствия профессию? – Илья презрел филологию и принял самостоятельное решение – в Ленинградский институт киноинженеров, ЛИКИ.

У него в Ленинграде объявился дядя, который разыскал его вскоре после смерти отца. Он приглашал пожить до поступления у него. Получив аттестат, Илья сразу же уехал в Ленинград. Денег он скопил несправедливым путем огромную сумму в полторы тысячи рублей, три материнские зарплаты. Кроме поступления в институт, было у него еще и намерение гульнуть.

В тот год, в связи с Московским фестивалем, сроки вступительных экзаменов в вузы были перенесены в разные стороны, чтобы абитуриенты не скапливались в столице и не мешали празднику.

Киноинженерный институт Илье очень понравился. Дядька Ефим Семенович сказал, что до войны отец Илья там работал, и до сих пор сохранились несколько человек, которые его помнят. Он стал звонить по разным телефонам, но, к сожалению, тех, кто помнил Исяя Семеновича, там не было, а кто был, тот не помнил.

Илья сбежал из Ленинграда в тот день, когда узнал, что начало экзаменов там как раз совпадает с открытием фестиваля. Этого великого события он не мог пропустить. Он подхватил свой фотоаппарат и вернулся в Москву с зажатым в руке паспортом, который он предъявил – с момента покупки обратного билета в кассе Московского вокзала до родного дома – пять раз: милиционерам, контролерам, дружинникам и просто желающим взглянуть на документ. В Москву пускали только москвичей.

Илья зашел к Мике. Оказалось, что Мика стал-таки студентом. Правда, поступил он не на филфак университета, а в скромный педагогический институт, где – известная шутка – по статистике, на восемь девочек приходилось два мальчика, один косою, другой хромою. Честолюбивые молодые люди без дефектов в пединститут не рвались.

Поступил Мика легко. Его удачный пол и хорошая подготовка перевесили плохую национальность. Но торжество было отравлено: в день, когда он нашел себя в списке принятых, умерла от воспаления легких бедная Минна, которую он ни разу не навещал в больнице. Она по три раза в году болела воспалением легких, и никак нельзя было предположить, что на этот раз болезнь окончательная.

Теперь он остался наедине со страшной тайной и с тяжким ощущением, что этот стыдный груз останется с ним до конца жизни. Слабоумная Минна была в него влюблена, и как-то постепенно он втянулся в странные сексуальные отношения, иначе не назовешь, хотя сексом в полном смысле слова происходящее между ними тоже назвать было нельзя. Минна подстерегала его в слепом отрезке коридора возле уборной, загоняла в угол и прижималась к нему теплыми и мягкими частями тела, пока он с большой легкостью не вырывался, красный, трясущийся и вполне удовлетворенный. Он готов был убить себя каждый раз после этого ужасного тисканья, клялся, что в следующий раз оттолкнет ее и сбежит, но все не мог этого сделать. Она была ласковая, мягкая, местами волнующе волосатая и совершенно косноязычная, и последнее ее качество исключало огласку.

Он просто умирал от чувства вины и отвращения, мысль о самоубийстве постоянно жила на задворках его сознания. О подсознании тогда еще не заикались.

Илья застал Мишу в этом плачевном состоянии. Расспрашивать ни о чем не стал, но поволок его на улицу – развеяться.

Москва была необыкновенно чистая и относительно пустынная. Фестиваль открывался завтра. По пустому городу в разных направлениях шли колонны легковых машин, грузовиков с открытыми бортами, с закрытыми бортами, автобусов старомодных – ЗИСов и ПАЗов – и венгерских «Икарсов».

Всюду были флаги и огромные бумажные цветы, а девушки в то лето носили широкие пестрые юбки, натянутые на толстые нижние, как на зонтики, и талии у всех были перетянуты широкими поясами, а волосы взбиты на макушке.

Преодолев два легких заслона, ребята вышли к скверу у Большого театра. Тут сбилось довольно много народу. Илья указал Мике на двух растерянных и не особо красивых девчонок: давай закадрим!

– Да ну тебя, – обиделся Мика и повернулся, чтобы идти прочь.

– Прости, прости, Мика, я грубый человек! Хочешь, пойдём и напьемся, а? Пошли! В «Националь»!

Почему-то их пустили в кафе «Националь». Возможно, швейцар пошел отлить и забыл заложить щеколду, а может, понадеялся на убедительную надпись «Закрывается на спецобслуживание».

– Пьем коньяк, – твердо сказал Илья и немедленно заказал триста граммов сбитому с толку официанту.

Они выпили триста граммов коньяка с двумя пирожными, потом повторили заказ. Как раз между первым и вторым принятием Мике заметно полегчало, и тут к ним подошел молодой парень с камерой “Hasselblad” на ремне, с виду русский, и спросил, можно ли сесть за их столик.

– Конечно, – отозвался Мика и выдвинул парню стул.

И сразу же разговорились. Парня звали Петей, но оказался он не простым Петей, а бельгийским Пьером Зандом, русского происхождения, студентом Брюссельского университета. Вторые триста граммов они выпили уже вдвоем и пошли гулять по городу. Фотоаппарат по совету Ильи Пьер оставил в гостинице.

Они гуляли по московскому центру, лучшего туриста, чем Пьер, нельзя было и вообразить. Он узнавал места, в которых сроду не был, все это были ожившие воспоминания родителей и бабушки и прекрасное знание русской литературы.

А вчерашние «люрсы» были лучшими из проводников для тоскующего по России Пети.

В Трехпрудном переулке у маленького деревянного домика Илья остановился и сказал:

– Где-то здесь жила Марина Цветаева.

Пьер все мягчел и слабел, а тут чуть не заплакал:

– Мама моя хорошо знала Марину Ивановну по Парижу. У вас ее и не печатают...

– Печатать не печатают, но все же знаем, – сказал Миха:

Кто создан из камня, кто создан из глины, —
А я серебрюсь и сверкаю!
Мне дело – измена, мне имя – Марина,
Я – бренная пена морская.

Правда, я больше Анну Ахматову люблю. А Илья вообще увлекается футуристами.

Кто бы кого ни предпочитал, поразительно было то, что вот стоит перед ними живой человек, почти их возраста, мать которого знала Марину Цветаеву. Сам Пьер представлял огромную, давно уже не существующую страну, уехавшую в эмиграцию. Пока гуляли, Петя рассказывал о своей семье, о той бывшей России, которая казалась собеседникам таким же призраком, как Брюссель или Париж. Но как же яростно и остро Петя ненавидел большевиков!

Миха с Ильей, немало обсуждавшие недостатки социализма, впервые встретили человека, который говорил вовсе не о недостатках коммунистического режима: он определял его как совершенно сатанинский, мрачный и кровавый, и не видел никакой существенной разницы между коммунизмом и фашизмом. Каким-то неведомым образом Петя разъединял любовь к России и ненависть к ее строю.

Две недели они практически не расставались. Благодаря Пьеру, втиснувшись в бельгийский автобус, они попали на открытие фестиваля в Лужниках, где три с лишним тысячи спортсменов то расцветали единым цветком, то выстраивались в геометрическом порядке, их руки, ноги и головы согласованно вздымались и опускались, и это было потрясающе захватывающее зрелище.

– Такое же было на гитлеровских парадах, – шепнул Пьер. – Фильмы Лени Рифеншталь в свое время обошли весь мир. Великая сила массового гипноза. Но, правда, очень мощно! И здорово! – вздыхал Пьер и щелкал затвором фотоаппарата. Илья от него не отставал.

Потом был джазовый концерт, массовый заплыв с факелами, какие-то фигуристы в воде, не считая бесконечных песен и плясок ансамблей Советской армии, флота, промышленности, торговли, профсоюзов поваров и парикмахеров.

Пьера совершенно не интересовали ни египтяне, скандирующие «Насер! Насер!», ни чернокожие граждане независимой Ганы, ни израильтяне, тоже пользующиеся большим успехом, особенно у советских людей, клейменных пятым пунктом. Пьера интересовала только Россия.

На третий день фестиваля к ним присоединился воскресший после очередной ангины Саня, и целых две недели они провели в беготне, в радости и веселье, так что Миха почти совсем забыл о Минне.

Илья ни разу не вспомнил о своем несостоявшемся поступлении в институт, а Саня временно отложил свои переживания по поводу рухнувшей музыкальной карьеры. Все влюбились в Петю, в Пьера, в Пьерчика, и никто из них и помыслить не мог о том, как иностранный друг повлияет на их судьбы.

Пьер, как выяснилось, был послан на фестиваль как представитель молодежной газеты, с заданием сделать цикл фотографий о жизни Москвы. Фотографии Москвы он сделал замечательные, в большой степени благодаря своим новым друзьям. Он снял булочную, когда туда доставляли свежий хлеб, речной порт с кранами и портовыми рабочими, детские ясли, дворы с бельевыми веревками и сараями, читающих в метро девушек, стоящих в очередях старушек, выпивающих и целующихся мужиков – и море радости.

Забегая вперед, скажем, что фотографии были забракованы редактором газеты. Они показались ему фальшивкой и коммунистической пропагандой. Пьер, которого нельзя было

упрекнуть в симпатии к коммунистическому режиму, обвинил редактора в предвзятости, и они разругались.

За день до отъезда всей компанией пошли в Парк культуры пить пиво. Была там волшебная чешская пивная, прикидывающаяся рестораном. Очередь расплзлась вокруг пивной, как пена около кружки, но они послушно стали в хвост – торопиться было некуда. К ним должен был присоединиться какой-то отдаленный родственник Пети – двоюродный или троюродный брат матери, работающий в Москве, во французском посольстве. Стоять было не скучно, все время происходило что-то занятное. Сначала группа людей на ходулях проскакала мимо, потом прошествовали шотландские вольницы, мексиканцы с трешотками и ряженые украинцы.

Саня с Михой держали очередь, а Илья с Пьером все отбегали, чтобы словить интересный кадр. И словили восхитительную драку могучего низкорослого негра с шотландцем в клетчатом килте неизвестного бело-зеленого клана. Бойцов окружила толпа зрителей, подбадривала:

– Врежь черномазому!

– Прибей пидараса!

Словом, народ развлекался древнейшим способом, точно как на гладиаторских боях. Бой шел под звуки все покрывающего Соловьева-Седого – вся Москва пела «Подмосковные вечера». Негр нанес сокрушительный удар, и шотландец в юбке рухнул.

Пластинку сменили: «Песню дружбы запевают молодежь, молодежь, эту песню не задушишь, не убьешь...»

Шотландец зашевелился. «Не убьешь, не убьешь...» – заливался громкоговоритель.

Через два часа, когда ребята уже входили в пивную, их разыскал Пьеров дядька, француз по имени Николай Иванович, с русской фамилией Орлов. Он был пожилой, розовый и толстенький, напоминал веселого поросенка Ниф-Нифа, говорил на петербургском наречии, давно вышедшем из советского словооборота. Одет был смешно – в соломенной шляпе и в украинской рубашке, вышитой по вороту, – точно как Хрущев. Иностранца в нем заподозрить было невозможно. По виду бухгалтер из провинции, с тертым портфельчиком.

Петя, когда его увидел, со смеху покатился:

– Ну и маскарад!

Знакомил их Петя с умыслом: через него держать связь.

Почте не доверяли. Обменялись телефонами. Звонить, ясное дело, можно было только из уличных автоматов, а встречаться договорились всегда на этом самом месте, возле чешского ресторанчика, чтобы по телефону не обсуждать место встречи.

Завязывалась преступная связь с иностранцем.

Знаменитое чешское пиво было светлое, в запотевших кружках, что свидетельствовало о его правильной температуре. Правда, оно стояло на соседних столах, а ко времени, когда компанию впустили в зал, как раз кончилось. Шпикачки тоже кончились, официанты подавали пиво «Жигулевское» и соленые крендельки, невиданную закуску. За соседним столом щипали, как корпию, внесенную контрабандой воблу, а в пиво подливали водку – под столом.

Хотелось сфотографировать, но было, во-первых, боязно, во-вторых – темно. Вато.

Таинственным образом снова появилось чешское пиво, пришлось выпить еще по две кружки. Вышли нагружившиеся, веселые. Пьер на прощанье подарил Илье свой «Hasselblad». То есть Пьер сначала предложил обмен, но Илья не смог отдать «Федю»:

– Подарок отца, не вещь, а часть жизни.

И тогда Пьер снял с себя матовый рубчатый ремень и сказал:

– Понимаю. Бери.

Дядя Орлов подарил им свой бухгалтерский портфельчик. Он был тяжеленький, с книгами. Около метро разошлись в три разные стороны: Илья с Пьером решили идти пешком до центра, Орлов тоже пошел пешком, но в другую сторону – он жил на Октябрьской площади.

Портфель Орлова, набитый книгами, нес Миха. Они с Саней спустились в метро. Праздник все еще продолжался, хотя официальное закрытие уже произошло.

Толпы веселых и пьяных людей, слегка приуставшие от двухнедельного праздника, догуливали последний вечер.

Иностранцев, украсивших на время московский пейзаж, было очень мало. Наверное, пошли собирать чемоданы, спать, завершать последние товарообороты, продавать остатки валюты и доцеловываться с советскими девушками, впервые познавшими прелесть романа с австрийцем, шведом и гражданином независимой Ганы.

Дружба народов торжествовала. Иностранцы, вопреки многолетним внушениям, оказались хорошими ребятами – никаких капиталистов, одни коммунисты и сочувствующие. Вроде голубинового Пикассо и прогрессивного Федерико Феллини.

Саня с Михой сидели за полночь во дворе дома-комода на Чернышевского, на скамеечке, говорили об улучшении нравов в России, хвалили Хрущева, который «вскрыл» железный занавес. Потом перешли к более личным темам: Миха поведал Сане то, что не вполне внятно изъяснил насмешливому Илье, – о бедной Минне, об их нечистых отношениях, о тягостном осадке, который теперь, видно, не смоеется за всю жизнь.

Саня молча кивал: он всегда представлял себе эту тайну между мужчинами и женщинами нечистой и отталкивающе-притягательной. До самой сути невозможно было добраться – слов не было.

Погоревали, помычали и разошлись.

С улицы еще доносились обрывки – «Не слышны в саду даже шорохи, все здесь замерло до утра, если б знали вы, как мне дороги...»

Коричневый бухгалтерский портфельчик с книгами Миха забыл под скамейкой. Саня тоже не вспомнил.

Дворник дядя Федор, воспетый Юлием Кимом, протрезвев на скорую руку, пошел мести участок. Портфельчик нашел – ничего в нем хорошего не было. Какие-то книжки. Отдал при случае участковому.

Толстячка Орлова родители его бывшей жены считали полным балбесом, и назначение его на дипломатическую работу в Россию их взволновало – он был первый, кто пересек границу родины в обратном направлении после восемнадцатого года.

В портфельчике лежал богатый подарок – шесть номеров «Вестника РСХД» и только что переведенная на русский язык книга Оруэлла «1984» издательства «Посев». И в том было полбеда, что мальчишки прочитают эту книгу с пятилетним опозданием, с ксерокопии. Беда была в том, что в боковом отделении портфеля лежало письмо от Маши, ушедшей от него жены. Оно было прислано диппочтой, имя Орлова стояло на конверте, и разыскать его ничего не стоило.

Фестиваль закончился. Забеременевшие от чернокожих студентов девушки еще не успели обнаружить свою беременность, а у Орлова уже начались неприятности. К счастью, не посадили, но из страны немедленно выслали. Дипломатическая карьера закончилась. Его бывшая жена и ее родители получили подтверждение тому, что Николай Иванович полный балбес и не пригоден ни к какому делу.

Зато мальчишки совершенно не пострадали.

Зеленый шатер

Оленька, луковка желто-розовая, плотная, в шелковистой тонкой коже, без гнильцы и помятинки, нравилась и мужчинам, и женщинам, и кошкам, и собакам. И непонятно было, как это она, такая здоровая и веселая, в улыбочках, родилась от сумрачных немолодых родителей, карьерных, партийных, с большими секретными заслугами и явными знаками благоволения властей – орденами, персональными автомобилями, дачей в генеральском поселке и продовольственными заказами в коричневых крафтовых пакетах и картонных коробках, прямо на дом доставляемых из закрытого распределителя.

Еще более удивительным и непонятным было то, как доверчиво она усвоила все хорошее, что они говорили, и совершенно не заметила того дурного, что они делали. Она выросла честной и принципиальной, общественные интересы всегда держала на первом месте, личные – на втором, и ненависть к богатым (где они, кстати?) она усвоила, и уважение к трудящемуся человеку, например, к Фаине Ивановне, домработнице, и к водителю черной отцовской «Волги» Николаю Игнатьевичу, и к водителю серой, материнской, Евгению Борисовичу.

Как легко и радостно быть хорошей советской девочкой! Пионерский Артек с синими ночами и красными галстуками прекрасно сочетался с продовольственным распределителем, а персональные машины родителей, возившие ее на дачу по субботам, – с равенством и братством. Она была ни в чем ни перед кем не виновата и любила радостно и безмятежно Ленина – Сталина – Хрущева – Брежнева, Родину и партию. Была она морально устойчива, как написали ей в характеристике, когда вступала в седьмом классе в комсомол, и в высшей степени политически грамотна.

Отец Оли Афанасий Михайлович служил по военно-строительной части, а мать была редактором журнала, не совсем литературного, скорее воспитательного толка.

Антонина Наумовна (она была из православных, имена своим детям дававших по святам, а вовсе не из евреев) окончила ИФЛИ, так что была практически писателем. И учиться Олю, по родительскому решению, снарядили по филологической части, в университет.

Первый университетский год не предвещал ничего дурного: девица с охоткой взялась за общественную работу, избрана была в бюро комсомола, училась прекрасно и рьяно, завела жениха – доброго молодца. Из военной семьи, толковый паренек, и не филологический, а студент МАИ. Авиационный. Последний курс. Антонине Наумовне Вова очень нравился – плечистый, роста хорошего, волосы светлой волной на лоб, ходил он чистенько, в свитере с самодельными оленями, но по зимам носил кожанку авиационную, мечтанную одежду тридцатых годов, чем особенно Антонине Наумовне imponировал.

Свадьбу сыграли после окончания Олей первого курса, в начале июня, – чтоб всю жизнь не маяться майским браком, как сказала Фаина Ивановна, приходящая помощница по хозяйству, кладезь народной премудрости.

Вова переехал в генеральскую квартиру, в Олину комнату. Всего в доме было вдоволь еще для одного человека, только кровать купили новую, пошире. Покупал, как ни странно, сам генерал. Оля наотрез отказалась идти за такой двусмысленной покупкой, а Антонина Наумовна была страсть как занята по причине очередного съезда не то советских учителей, не то советских врачей. Афанасий же Михайлович вспомнил, что на Смоленской набережной он видел мебельный магазин, и сказал жене, что сам купит. Он туда и заехал после работы. Магазин оказался антикварный. Генерал долго ходил между мебелью всех времен и народов и вспоминал своего деда-краснодеревщика. Лет пятьдесят о нем думать не думал, и вдруг, посреди зыбких бамбуковых этажерочек, монументальных бюро с секретами и ампириного бело-золоченого мелкоколосья стульев и полукресел, воскрес тощий низенький старик с огромными коричнево-черными кистями и острыми глазами в нежных водянистых мешках подглазий... И запах

дедовой мастерской всплыл – скипидарно-спиртовой, лаковый, густой и почти съедобный, и как учил дед его, мальчонку, пошкурить, поциклевать, полировочку навести.

Ходил, ходил Афанасий Михайлович, забывши, с чем пришел, потом вспомнил и купил двуспальную кровать волнистой березы, крепостной работы с фантазией, совершенно не подумавши о двух молодых комсомольцах, любителях палаток и ночевок под голым небом, которым предстояло теперь между витыми колонками, в кругу четырех херувимов потрудиться для будущего.

Кровать действительно произвела большое впечатление своей полной несуразностью и помпезностью, но супружеского дела не затормозила – внук Константин появился на свет ровно через десять лунных месяцев со дня свадьбы.

А генерал повадился с тех пор в антикварный магазин и, к удивлению Антонины Наумовны, начал постепенно менять добрую сталинскую мебель на заковыристые предметы большой давности, да еще и чинил их сам.

Был Афанасий Михайлович старше жены на десять лет, она давно уже чувствовала в нем приближение старости и теперь смотрела на это его новое увлечение как на старческую причуду, впрочем, безобидную. На даче он оборудовал себе мастерскую и ковырялся там с охотой, все более утрачивая военную бравость и политическую дальноркость, которую жена в нем высоко ценила.

Антонина Наумовна не в восторге была от появления столь раннего ребеночка – Оленьке и девятнадцати еще не стукнуло, когда привезли из роддома кулек в голубом шелковом одеяле. Кулек оказался образцовым, точь-в-точь как его родители: ел, спал и какал по часам, всем улыбался и давал Оле возможность заниматься словесной наукой, так что ей и академического отпуска не пришлось брать для подращивания ребенка до пешеходного возраста.

Фаина Ивановна, с послевоенных лет работавшая в семье, растившая Олю с младенчества, собралась было с рождением ребенка уходить – в другую семью из двух человек, где работы поменьше и куда давно ее сманивали, – но Костя так пленил ее пожилое сердце, что она до самой своей смерти за ним ходила.

К концу университетской учебы, которая шла вполне успешно, произошло событие, разрушившее семейный мир. Оля, чистая девочка, набралась в этом университете тлетворного влияния и, когда одного из университетских преподавателей, скрытого антисоветчика и врага, само собой, народа, посадили за пасквиль, опубликованный за границей, подписала вместе с некоторыми своими однокурсниками, с толку сбитыми дураками, письмо в его защиту. И ее, вместе с другими подписантами, из университета выгнали. Антонина Наумовна раскаялась, что отдала дочь в университет, но было уже поздно. Мужественный отец Оли, если б знал, что так обернется это почетное образование, непременно бы вспомнил: «Кто умножает познания, умножает скорбь». Но Экклезиаста он не знал, и потому, когда тлетворное университетское образование повлияло на судьбу дочери столь драматическим образом, он с горечью выговорил своей жене Тоне:

– Дался тебе этот университет. Я ж говорил, проще надо быть, ближе к народу. Все мозги у девки перекошились... Отдала бы ее в инженера, и никакой этой гнили не набралась бы... Упустили девку.

В этом Афанасий Михайлович был, может быть, и прав. В университете испокон веку происходило умственное брожение, а его генерал порицал не по партийному долгу, а по сердечной склонности.

– Все умничают, – сердился он всякий раз, когда сталкивался с тем, чего не понимал. Все чаще и чаще он не понимал свою дочь: даже о простых вещах научилась она говорить заумно, как будто специально, чтоб родному отцу мозги запудрить. Зять, надо отдать ему должное, Олиных взглядов не разделял. Они время от времени поругивались между собой – по вопросам политическим, потому что других-то проблем у них не было: на всем готовом жили, с няней,

с дачей, с продовольственными заказами... Дело дошло до того, что вскоре после исключения Оли из университета Вова хлопнул дверью и переехал обратно к своим родителям.

Если б Оля послушалась родителей, покаялась на собрании, поплакала и написала бы заявление, какое от нее требовалось, до исключения дело бы не дошло. Но она, как было сказано, выращена была честной и принципиальной – родители с детства ей это привили – и потому наотрез отказалась каяться, признавать за собой ошибки и клеймить мерзавца-преподавателя, который был руководителем ее диплома.

Арест преподавателя произошел в начале сентября, Ольгу пригласили на первый допрос в конце месяца, и честная девочка говорила правду и только правду. А как иначе? Правда же ее состояла в том, что преподаватель – выдающийся ученый, что настроен он критически ко многим явлениям советской жизни, и критика его правильная, и она, ученица, полностью разделяет его взгляды на литературу и жизнь. Показания ее сильно не повредили арестованному, а за ошибки дочери ответили родители. Афанасия Михайловича вызвали в секретное место для строгой беседы, притопнули на него ногой, и он вскоре подал в отставку и переехал жить на дачу. В глубине души он даже и рад был этой перемене: хорошо было за городом – упражнялся там в наследственном ремесле и, храня на дочь тихую обиду, не портил себе ни настроения, ни кровавого давления пережевыванием семейной неприятности. Была у него, сверх того, и другая отдушина.

Антонина Наумовна сделала опережающий удар: еще до того, как начальство собралось намылить ей шею за плохое воспитание дочери, она успела опубликовать в своем журнале гневный материал по поводу очернительской книги бывшего преподавателя и подрядилась выступить общественным обвинителем на политическом процессе против негодяя. Отношения с дочерью с той поры полностью разладились.

Оля жила в доме как чужая. Ничего о себе не говорила, приходила, уходила, то с Костей погуляет, то вдруг исчезнет на день-другой. В феврале начался судебный процесс над преподавателем и его другом, тоже отчаянным писателем, передавшим рукописи на Запад, и Оля бегала к Краснопресненскому суду и стояла в толпе молодых мужчин и женщин с интеллигентными и дерзкими лицами. Они все как будто были между собой знакомы, иногда кто-нибудь из мужчин вытаскивал бутылку из портфеля или фляжку из кармана, пускали по кругу. В эти минуты Ольга чувствовала себя одинокой и несчастной: ей не подносили. Однажды, зайдя в пельменную рядом с судом, скорее погреться, чем поесть, Ольга оказалась за одним столиком с этой компанией, и они признали в ней свою, как только она сказала, что делала диплом под руководством подсудимого и по этой причине из университета изгнана.

Высокий человек, которого она еще раньше заметила в толпе, потому что, несмотря на лютый мороз, он был без шапки, с заснеженными кудрями, и время от времени вынимал фотоаппарат, совал кому-то бумаги, а однажды его на глазах у всех затолкали в автобус и увезли, так вот этот самый веселый человек поднес ей незаконной водки, прямо под объявлением, что принос и распитие спиртных напитков строго запрещены, и она выпила почти полстакана.

И тут наступило счастье: пахло разваренными пельменями и мокрыми шубами, немного хлоркой и немного прокисшим алкоголем, пахло опасностью и дерзостью, и Ольга почувствовала, что ее приняли в партию сочувствующих обвиняемым. Чувство это было похоже на детскую коллективную радость пионерских сборов, искристых костров под синими электрическими небесами, комсомольских выездов на картошку и песен в электричке, только стало ясно, что все то, детское, было не то подменой, не то предвестником этого подлинного единения умных, значительных и смелых людей, и выглядели они верными товарищами, и хлопали друг друга по плечам, иногда взрывно смеялись, но чаще о чем-то потаенно шептались. Самым приятательным за столиком был тот высокий и кудрявый. Звали его Илья. Он и разливал.

Так и получилось, что Олина семья продолжала жить в прошлой жизни, а Оля оказалась в совершенно новой. Судебный процесс закончился, антисоветчики получили заслуженные

сроки и отправились отбывать наказание, а круг людей, толпившихся во дворе Краснопресненского суда, сплотился.

Слово «диссиденты» еще не привилось к русскому языку, термин «шестидесятники» ассоциировался пока только с последователями Чернышевского, но в умных головах заводились тихие, как черви, и опасные, как спирохеты, мысли. Илья перелагал их Ольге в доступной форме в перерывах между объездами, которые случались в комнате на улице Архипова, где жил Илья со своей матерью до женитьбы, но и после женитьбы не совсем съехал. Возил туда Оленьку от случая к случаю исключительно в утренние часы, поскольку его мать работала с восьми до трех медсестрой в детском саду.

С посаженным в лагерь преподавателем Илья был хорошо знаком, он знал почти всех людей, которые толпились тогда во дворе суда, но, помимо этого, он знал вообще все, а особенно то, что написано было в примечаниях мелкими буквами. Создавалось даже такое впечатление, что чем мельче шрифт, который использован для набора, тем это интереснее Илье. Особенно хорошо и много знал он про то, о чем в университетских книгах вообще не упоминалось. Свои знания он черпал в библиотеках, где провел школьные и послешкольные годы. К большому удивлению Ольги, образованнейший Илья высшего образования не имел, окончил только десятилетку и работать на государство не желал, а во избежание преследований со стороны власти числился секретарем у какого-то академика.

Роман Ольги и Ильи протекал главным образом на ногах, в прогулках по сокровенно-московским местам, которые он хорошо знал. Иногда он останавливался возле кривого домика с покосившимся крыльцом и говорил: это дом допожарный, сюда Вяземский захаживал... Здесь, у брата, Мандельштам останавливался... а в эту аптеку бегала жена Булгакова Елена Сергеевна за лекарствами для мужа...

Но лучше всего он знал про футуристов, про весь этот русский авангард. Часами они простаивали у прилавков букинистических магазинов, где он тоже всех знал и его знали, перебирал тонкие книжечки, напечатанные на серой сырой бумаге. Иногда покупал, иногда только причмокивал языком. Однажды заставил Ольгу бежать домой и занимать у родителей сторублевку для покупки редкого издания Хлебникова.

Так прошел год, а они все гуляли по переулкам, выпивали с друзьями, которые у Ильи все были особенными, как на подбор: один музыковед, другой жокей, к третьему, зрителю заповедника, они ездили на Оку, и еще один был настоящий священник. Самым милым был рыжий учитель глухонемых детей! Оле раньше и в голову не приходило, какие интересные люди живут на белом свете и какие разные, со своими философиями и религиями. Мелькнул даже буддист! И Ольга читала книжки, и это было как еще одно университетское образование, но гораздо интереснее, да и книжки, которые давал Илья, были либо старинные, либо привозные, заграничные. Однажды он попросил Олю перевести с французского небольшую книжечку – католическую, про чудеса в Лурде.

Им было так интересно и так хорошо вместе, что Оле было трудно вообразить, что у него есть какая-то еще жена, к которой он уходит поздними вечерами. Потом что-то изменилось в его семейной жизни – все реже он сообщал, что ему надо в Тимирязевку, пока окончательно не вернулся к матери в коммуналку. Оля познакомилась с тихой Марией Федоровной.

По мере того как Ольга удалялась от своих родителей, зять Вова им все роднел: приходил по воскресеньям, получал из рук Фаины Ивановны собранного на прогулку сына, выгуливал его и приводил к обеду. Сам кормил, укладывал спать, а потом обедал вместе с тестем и тещей, каждый раз по особому приглашению, слегка отказываясь и давая понять, что в воскресном, не то чтобы парадном, но полупарадном обеде он никак не заинтересован, и не Фаиныны пухлые недосоленные пироги привлекательны, а исключительно само родственное общение.

Оленька по воскресеньям отсутствовала, и о ней обычно и не поминали – большое место было общим, с теми же самыми оттенками оскорбленности, недоумения, совершенно необъ-

яснимого предательства. У отставленного мужа вдобавок сильно чесалось молодое мужское самолюбие. К чести его надо сказать, что первую любовницу завел он спустя два года, когда Оля затребовала развода. До этого момента чувствовал себя женатым мужчиной в неопределенно долгой командировке, соблюдал бессмысленную верность и платил сорок рублей алиментов, которых никто с него не спрашивал. Ему все казалось, что Оленька опомнится, и они начнут дальше дружно жить с того самого места, где споткнулось их супружество...

Узнав, что Ольга подала на развод, Антонина Наумовна ушла в тихое бешенство. Но она умела быть сдержанной: ее страсти кипели в тайной глубине организма. Чем более она себя сдерживала, тем крепче сходились ее челюсти и сильнее выпирали из орбит тусклые глаза. Ольге она ни слова не сказала, паров она дома не спускала, умела разрядиться в редакции. Сотрудницы трепетали, одна от страха уволилась, а преданная ей всей душой секретарша слегла с микроинсультом.

Афанасий Михайлович с тех пор, как вышел в отставку, тихо радовался незамысловатой жизни. Он не обладал эмоциональной тонкостью своей жены и не торопился так уж решительно вычеркивать дочь, а лишь отодвинул ее подальше и не страдал так страстно, как Антонина Наумовна...

Видимо, и Ольга почувствовала отцову слабину: про изменившиеся обстоятельства своей жизни первому рассказала ему, а не матери. Но был в этом и расчет, о котором догадались позже...

В середине февраля Ольга приехала на дачу. Как простые жители, на автобусе. В будний день, ни с утра, ни с вечера – после полудня. Как раз привезли питание из недалекого военного санатория, вроде как по курсовке: обед из трех блюд и сладкая булочка собственной прекрасной выпечки. Афанасий Михайлович возился с судками, тут явилась Ольга. Он обрадовался, потому что давно ее не видел, а семейная ссора подзатуманилась со временем. Она же была веселая, совсем прежняя, располовинила безо всякого колебания отцов обед и даже составила ему компанию по части предобеденной рюмки. После обеда она с ногами забралась в кожаное кресло с алюминиевой биркой за шиворотом – были на даче еще остатки казенной мебели, которую генерал выкупил у своего ведомства за копейки вместе с самой дачей, – и выбрала Оленька по старой памяти это с детства родное чудовище, а не обновленное отцово старье, сплошь деревянное, лишненное ласковости и снотворности, купленное отцом все в той же комиссионке.

– Батяня, – назвала Оля отца детским прозвищем, – я хочу с тобой на даче пожить. Костю бы перевезла, а? Как ты?

Афанасий Михайлович обрадовался, никакого подвоха не почувал:

– Да живи ты, сколько хочешь, чего спрашиваешь? Только как с работой-то? Без машины тяжеленько...

Сообщение с городом было сложное: до Нахабина автобусом, который ходил не по расписанию, а по вдохновению, а от Нахабина на электричке до Рижского вокзала...

– А мне ничто, – засмеялась Оля. – Я не работаю, я учусь.

Афанасий Михайлович обрадовался: жена не говорила, что Оля опять пошла учиться. Недоразумение, однако, тут же и рассеялось – училась Ольга теперь не в университете, а на городских курсах испанского почему-то языка. Ходила на занятия не каждый день, вечерами, в университете восстанавливаться не собиралась.

Афанасий Михайлович медленно прикидывал, почему это вдруг задумала дочь такую перемену, и как жена к этому отнесется, и не следовало ли прежде согласия с женой посоветоваться. Но тут Ольга все сама и прояснила:

– Может, и друг мой тут поживет.

Старый генерал задохнулся от возмущения: развелась, не спрашивая, теперь завела любовника, хочет его в дом привести и его согласия-разрешения ждет. Но, минуту помолчав, махнул рукой:

– Да живи с кем хочешь, что мне за дело...

Насупился, доел быстро казенную котлетку и пошел принимать послеобеденную процедуру – сон.

Через несколько дней на огромный генеральский участок въехала старая «Победа», из нее высыпался Костя в цигейковой шубе, цигейкового же вида крупный щенок, Ольга со стопкой книг в руках и высокий кудлатый человек с лыжами. Окна мастерской, где Афанасий Михайлович возился со своими деревяшками, были обращены в другую сторону, и он не видел, как они, толкаясь, падая, роняя в снег варежки и книжки, подошли к крыльцу. Вышел на звонок, открыл дверь и увидел, как ему после дачного безлюдья показалось, целую толпу. Костя визжал, собака лаяла, Ольга преувеличенно хохотала, и над всеми возвышался длинный нескладный мужчина, в котором таился – сразу же понял отставной генерал – корень всех зол.

Корень назвался Ильей Брянским. Он протянул костистую, мясом не обросшую руку, пахнул дешевым табачным запахом, каким-то знакомым химреактивом и затаенной враждебностью. И от Ольги тоже шел новый дух – дерзкий и чуждый. Только внук Костя да его простопородный щенок были своими. Но Афанасий Михайлович не вдавался в анализ своих ощущений. Поцеловал дочь и внука и ушел на второй этаж рукодельничать: запах политуры, столярного клея и древесной пыли был ему полезней валерьянки. Он взял самую тонкую шкурку, принялся тереть боковину кресла, снимая оскорбительный лак, и рука его радовалась кривой плавности завитка, поддерживающего подлокотник.

Снизу доносился взрывчатый смех, фыркание, хохот, переходящий в стоны и повизгивание, – звуки, совершенно не подходящие тихому и чопорному дому.

Все же бесстыдство какое: приехала с любовником и малолетним сыном, и как ни в чем не бывало, осудил генерал дочь.

Зажили на два дома: Афанасий Михайлович – на своих военно-санаторских харчах, по привычному режиму: в семь подъем, в восемь чай, в одиннадцать сон. Ольгина семья перебивалась кое-как. То сварят себе что-то незначительное, но все больше бутербродничают, весь день холодильником хлопают, встают, ложатся не по часам, а как придется, – то гуляют, то чай пьют среди ночи, спят не ко времени, хохочут и стрекочут пишущей машинкой чуть не до утра. И работают не по-людски, то утром уезжают, то среди дня. Ольга на курсы едет в четыре, возвращается последним автобусом. Он встречает. Иногда с Костей. Ночью, по морозу, чего ребенка таскать?

Правда, одного Костю не оставляли, уезжали попеременно. А если уезжали с ночевкой, вызывали Фаину Ивановну. За два месяца только один раз попросили присмотреть Афанасия Михайловича: он взял мальчика к себе в мастерскую, и тот весь день ему помогал. Толково.

По субботам приезжала Антонина Наумовна на серой «Волге» – с тортом и с продовольствием. Устраивала воскресный семейный обед. Новый женишок долгое время ей на глаза не показывался: как суббота-воскресенье, так его и нет. Только в начале апреля они столкнулись. Предварительная неприязнь Антонины Наумовны оправдалась: не понравился. Да и чему нравиться? Разве что волосом кудряв. А так – лицо скудное, в обтяжку, нос с вороньей костью, а губы мясистые, красные, как в лихорадке. Несуразный весь: плечи узкие, ноги тощие, в поясе того и гляди переломится, брючата узенькие, а впереди торчит, много наложено. А сам ледащий! Тьфу!

Антонина Наумовна кивнула, поджав губы:

– Ну, будем знакомы. Антонина Наумовна.

– Илья.

– А по отчеству?

– Илья Исаевич Брянский, – подчеркнуто сказал.

Брянский-то Брянский, рассудила Антонина Наумовна, большой знаток по кадрам, однако Исаевич! – пророческие имена только у попов и у евреев в ходу... еще у староверов. Ей этот вопрос был хорошо знаком, всю жизнь отбивалась.

И чего девке надо было? Такого ладного парня, Вову, мужа хорошего, променяла на вихлястую жердину. И Костя, что неприятно, глаз с него не сводит, лазают по нему, как по тощему дереву.

За столом семейка молодая принялась хихикать. Антонина Наумовна заметила, как Илья Косте в тарелку хлебный катюшек забросил, а тот ему как будто невзначай соли шепотку всыпал. А Ольга сидит с глупой улыбкой, щурится... Торты же женишок съел два куска. Крем слизывал сверху, как кошка. И за Костей доел. Сладкое любит. И ложечку обсосал. Противно! Все же напрасно Афанасий разрешил им здесь жить. Пусть бы сами устраивались, как могли. Все больно легко им дается. И глаз ее завололся злой сухой слезой...

Бедные Ольгины родители и вообразить себе не могли, чем занимается ледащий женишок, о чем стучит по ночам машинка и куда он носится, покидая богатую дачу. Знала обо всем этом Оленька: это она перепечатывала антисоветчину на папиросных листах. Правда, за большие объемы Оля не бралась: не хватало скорости, квалификации. Она занималась перепечаткой стихов, более всего Осипа Мандельштама и Иосифа Бродского – считала это своей общественной работой, – а толстые книги отдавали более проворным, и за деньги, то Гале Полухиной, школьной подруге, то профессионалке Вере Леонидовне.

Илья иногда отвозил листы в переплет, к другу Артуру, а иногда распространял и так, голенькими. Артур делал чудесные поэтические книжечки в ситцевых переплетах. Книги религиозного содержания переплетал в соответствующий им солидный материал – ледерин, коленкор. Но дело с ним иметь было непросто: забывал о сроках, о договоренностях. Илья на самиздате зарабатывал. В отличие от большинства прочих гутенбергов своего времени, интеллигентским чистоплюйством он не страдал и за потраченное время желал получать приличное вознаграждение, которое достойным образом он и употреблял на свои фотографические увлечения и коллекции.

Сколько стихов! Сколько стихов! Не было другого такого времени в России, ни до, ни после. Стихи заполняли безвоздушное пространство, сами становились воздухом. Возможно, как сказал поэт, – «ворованным». Высшее признание поэта, как оказалось, – не Нобелевская премия, а эти шелестящие, переписанные на машинке и ручным способом листочки, с ошибками, опечатками, еле различимым шрифтом: Цветаева, Ахматова, Мандельштам, Пастернак, Солженицын, Бродский, наконец.

– Наш школьный учитель литературы Виктор Юльевич Шенгели – вот с кем тебя надо познакомиться. Он тебе очень понравится! Он, правда, давно уже в школе не преподает. Сидит где-то в музее на ставке. Главное, чтоб внимания не обращали.

Советская власть преследовала безработных, причисляя к ним тех, кому работать сама же и не давала. Тунеядец Иосиф Бродский уже освободился из ссылки в деревне Норенской, и ничто не предвещало, что через пятьдесят лет в местной библиотеке откроется мемориальная комната памяти бывшего ссыльного и потертая девушка средних лет будет водить экскурсию «Бродский в Норенской».

Оля поначалу немного, а постепенно все более уверенно занималась переводом: французский был университетский, к испанскому, выученному на городских курсах, прибавился итальянский, который сам собой освоился исключительно по дороге на дачу, в электричке. Образовались связи, иногда приглашали переводить фильмы, и она отлично с этим справлялась. Были и другие заработки-приработки – какие-то рефераты, патенты. Заработки были сначала маленькие, потом значительные. Но все работы были неофициальные, а официально она теперь числилась секретарем, как Илья. Это была ширма, ею многие пользовались.

После смерти бывшего тестя нашелся еще один человек, который оформил Илью к себе в секретари. Он и Ольге нашел старого профессора, который оформил ее к себе на работу секретарем, и оба они числились в каком-то загадочном профкоме, устроенном как будто специально для избегания советской власти.

На даче, в чулане рядом с ванной, Илья оборудовал себе фотолабораторию. Как в школьные годы, отвел трубу от сортира и ночами там химичил. Но Афанасий Михайлович ничего не замечал – мылся он по субботам, в другие дни в сторону ванной и смежного с ней чулана и не смотрел.

Какие счастливые были эти совместные годы! Илья развелся с прежней женой. С Ольгой они тихонько, без большой огласки поженились, и Ольга предалась ему всей душой. Все, что он говорил и делал, было увлекательно и ново: и самиздат, и фотографии, и путешествия – он был любитель и русского Севера, и среднеазиатского Юга, часто срывался, ехал бог весть куда. Иногда брал с собой Ольгу и Костю.

Однажды поехали в Вологодскую область – в Белозерск, в Ферапонтово, – и осталась эта поездка в памяти Кости как волшебное путешествие. Все, что происходило, каждый прожитый день и час остались, как киноплёнка, годная к новому просмотру: и ловля рыбы с лодки, и ночевка на сеновале, и как влезли на леса в монастыре, и он чуть не сверзился в бездну, но Илья ухватил его за куртку, и ужасная смешная история с пчелой, которую он засунул в рот вместе с куском деревенского пирога с вареньем, а Илья немедленно вытащил пирог прямо у него изо рта и ловко вытянул из губы пчелиное жало.

Оля вспоминала другое: пропадающие фрески Дионисия, запущенный монастырь, медлительную и сонную северную природу, которую она с первого же слюдяного, прозрачного заката признала своей настоящей родиной.

Именно тогда, под Вологдой, она, пережившая разочарование в родительских идеалах, в самих родителях, во властях и начальствах страны, в которой родилась, в самой стране, с ее жестокими и бесчеловечными порядками, вдруг испытала новую, щемящую любовь к бедному смиренному Северу, откуда родом был ее отец, и комок застревал в горле, когда поздно закатывающееся солнце садилось в большое озеро, багровое небо делалось постепенно серебряным, и все вокруг серебрело – поля, вода, воздух. Этот зелено-серебряный оттенок тоже был открытием этой поездки, именно Илья первым его заметил и указал.

Генерал в эти годы окончательно перебрался в мастерскую, почти и не показывался оттуда. Мать боялась потерять свою должность, но никто ее не гнал из журнала: она была партийно-писательской шишкой почти крупного масштаба.

Когда Костя пошел в школу, они переехали в московскую квартиру, а Антонина Наумовна все чаще стала ночевать на даче – персональная машина курсировала почти каждый день по два раза туда-сюда – отвозила, привозила.

На десятом году брака произошел сбой.

Илья сделался нервным и настойчивым: чудесная веселая игривость характера сменилась мрачностью. В начале восьмидесятого года он объявил Оле, что им надо уезжать. Разговоры об отъезде давно уже велись между ними, но как-то отвлеченно. Тут вдруг Илья ни с того ни с сего страшно заторопился.

– Я буду просить приглашение на всю семью. Если ты не хочешь ехать, надо разводиться.

– Хочу, хочу я ехать. Но сам подумай. Вовка Костю ни за что не выпустит. Просто мне нагло. Вот ему восемнадцать исполнится, тогда уже разрешения не нужно будет. – Оле казалось, что Илья напрасно капризничает. Не уехали десять лет тому назад, ну что вдруг теперь так загорелось?

Илья настаивал, торопил. Ольга встретилась с бывшим мужем. Совершенно безрезультатно. Вова показал себя злобным тупицей. Даже удивительно, какой бесчувственный боров из него произошел. Отказал твердо, окончательно, да еще и обругал.

Оля умоляла год подождать. Илья был как в лихорадке: ехать, скорее ехать. Он и вправду очень нервничал. Неприятные слухи клубились вокруг его имени, и он боялся, что до Оли дойдет. Как-то резко, не проговорив до конца всех деталей, Илья объявил, коли Ольга не может с ним ехать из-за Кости, то надо срочно подавать на развод.

Для Ольги это была катастрофа, но катастрофа какая-то странная, необязательная, что ли... И впрямь, не вполне было понятно, почему вдруг Илюша так заторопился. Подождали бы год, поехали бы вместе с Костей. Множество друзей уже эмигрировали кто куда. И можно было бы не торопясь...

Дошли до черты – подали на развод. Начался медовый месяц, только наоборот. Ожидание разлуки – на год, может, на два? – придавало остроты, сладости и горечи, и даже Косте передалось это смешанное чувство. Он был юноша в самом, казалось бы, отчужденном возрасте, но и он висел на Илье, постоянно норовя нарушить их уединение.

Любовь в экстремальных условиях так разгорелась, что в ее ночном пламени рухнули последние границы, и сделаны были ужасные признания, и даны такие клятвенные обещания, и взяты такие невыполнимые обеты, как будто им было по пятнадцать лет, а не по сорок. Поклялись, что если какие-то препятствия возникнут, то весь остаток жизни положат на то, чтобы соединиться...

Отъездный механизм был запущен. Процесс завершился необычно быстро: через две недели после подачи документов Илья получил разрешение. Летел он по известному маршруту: через Вену, далее везде. В качестве конечной точки намечалась Америка. Далекое место.

Отвальную устраивали на квартире у друзей – московская генеральская квартира не подходила по множеству причин.

Проводы были шумными, с перепадами настроения: не то похороны, не то день рождения. В некотором смысле имело место и то, и другое.

В Шереметьеве, в толпе навеки покидающих страну нервных и потных людей, обремененных детьми, стариками и обширным багажом, Илья выделялся безмятежностью вида и полным отсутствием багажа. Свою книжную коллекцию он заранее переправил за границу дипломатической почтой через посольского приятеля. Этот же приятель переправил и негативы фотоархива. Полковник Чибиков об этом вряд ли был осведомлен.

Многие детали так и остались невыясненными. Почему, например, полковник Чибиков, который к тому времени уже был генералом, помогал ему с выездом, какие планы он строил относительно Ильи. Была ли работа Ильи на радио «Свобода» счастливым бегством на свободу или продолжением двусмысленной игры, в которую он был запутан до самой смерти.

Об этом вряд ли когда-нибудь кто узнает.

Илья уходил в черную дыру, разверзшуюся между двумя пограничниками. На шее у него болтался фотоаппарат без пленки – ее вынули и засветили пограничники, – а на плече – полупустой туристический рюкзачок. В нем была смена белья и учебник английского языка, который он постоянно носил с собой уже два года.

Ночью после отъезда Ильи у Оли началось кровотечение, и ее увезли в больницу по скорой помощи. Болезнь, конечно, началась гораздо раньше, но именно с этого дня она себя проявила.

Первый год без Ильи прошел в переписке и в приступах. Оля страшно исхудала, потеряла аппетит и ела с отвращением, по ложке овсяной каши три раза в день. Старые подруги снова стянули свои войска – для дружеской жалости. Антонина Наумовна тоже жалела Олю, и чем больше жалела, тем больше ненавидела бывшего зятя.

Он к этому времени уже был в Америке, где все оказалось куда хуже, чем он предполагал. К тому же немец, вывезший в свое время коллекцию авангарда, собиравшуюся Ильей чуть не со школьных лет, тянул, ничего не отдавал. Стоимость книг, по аукционным сводкам, оказалась значительно выше, чем Илья предполагал.

Письма от Ильи были редкими, но очень интересными. Ольга жила от письма до письма. Сама писала ему много, не считаясь с почтовыми перебоями: на каждое его полученное письмо приходился десяток ею отправленных.

Через год Ольга получила ужасный удар. Ей донесли общие знакомые, что Илья женился. Она написала ему яростное письмо. Получила нежный и покаянный ответ: да, женился, слаб человек, женился практически фиктивно, с женой вместе не живет, поскольку та живет в Париже, и она, Ольга, должна его понять – здесь, в Америке, дела его совершенно не складываются, надо попробовать себя в Европе. Женитьба на русской француженке даст ему такую возможность. Другого выхода у него пока нет.

И легкий такой пробег в сторону прошлого-будущего: мол, все это временное, вынужденное, счастье наше еще впереди... И столь же легкий укор: ты же могла оставить Костю на год, а потом мы его забрали бы...

Ольгу охватила ревность: кто эта женщина, что собой представляет, откуда взялась? Узнала через знакомых ее имя. Она была родом из Киева, замужем за французом, жила много лет во Франции, овдовела. Ясно, что немолода. Больше никаких сведений не было. Ольга подхватила и поехала в Киев. Общих знакомых – пруд пруди. Правдивая по природе, вдруг – с места в карьер – начала лгать киевлянам направо и налево, и все ей всё рассказывали. Даже удалось у дуры-подруги новой жены Ильи заполучить фотографию, на которой изображены брачующиеся: толстая пожилая тетка нахально положила пухлую руку на плечо улыбающегося Ильи, и все это в парижской мэрии. Вот эта самая рука и стала главным обвинительным документом.

Провела полное расследование, узнала множество подробностей и вернулась домой, полумертвая от вороха противоречивых сведений и уверенная в том, что Илья ее обманывает и брак этот никакой не фиктивный.

В Москве сразу же попала в больницу. Опять кровотечение. Ее прооперировали по жизненным показаниям, удалили большую часть желудка. Но главная язва лежала в сумочке с умывальными принадлежностями – обутая в пластиковый пакет эта самая цветная фотография. Говорить она могла теперь только о подлости бывшего мужа. Очнувшись от послеоперационного наркоза, она сказала сидевшей рядом подруге Тамаре, взявшей за ней ухаживать: – Ты видела, какие цветы на фотографии? Огромный букет, да?

Часть желудка была уже удалена, но удалить кровоточащую рану сердца врачи не умели...

От всего мира Ольга требовала теперь принять ее сторону в конфликте. Конфликт был особенно интересен тем, что не было в нем никакой другой стороны: разведенный и уехавший муж женился неизвестно на ком на другой стороне земли. А обещания, обеты, клятвы вечной любви – это вообще не сторона конфликта, это одни слова...

Сын Костя тем временем готовился нанести матери еще один удар: он влюбился в девочку, с которой поступал в институт, влюбился навсегда, на всю оставшуюся жизнь. Самое в этом невероятное, но одновременно и банальное, что и по сию пору живет Костя с Леночкой и со своими уже взрослыми детьми все в той же генеральской квартире.

Оля требовала от Кости сострадания и сочувствия. Костя, ближайший на свете человек, резко воспротивился, сочувствия проявлять не захотел, да к тому же не пожелал принимать ничьей стороны. Он любил мать, но любил и Илью и не хотел слушать постоянных обвинений матери в адрес отчима. Ольга смертельно обиделась на сына. Оттянула двумя пальцами черный трикотаж свитера с его плеча и зашипела:

– Илюшкин свитер? Тебя купить недорого оказалось...

Илья время от времени присылал посылки на Костино имя: кроме шмоток для Кости, там были неопределенные предметы «для дома», «по умолчанию» адресованные Ольге. Ольга брезгливо передавала матери диковинные открывалки для консервов, клеенчатые скатерти в шотландскую клетку и прочую дешевую дребедень.

Антонина Наумовна любила всякую заграничную хозяйственную мелочь, но она умела поставить на место басурманов:

– В России вся мощь, весь интеллект наших ученых направлены на создание космических ракет, атомных электростанций, а они – об открывалках заботятся. Что ж, хорошие открывалки, ничего не скажу.

Она во всей этой истории была единственным счастливым человеком. Праздновала победу. Оля в ее сторону глаз поднять не могла: горела от ненависти.

Костя отмалчивался, дурного про Илью слышать не желал. А про заграничные открывалки тем более. Он был занят в тот момент своими собственными чувствами – ненаглядная Леночка была на третьем месяце беременности, и он не мог отвести от нее глаз. Такой у него оказался дар любви, как у Оли.

Ольга собирала на Илью досье: ей почему-то нужно было теперь, задним числом, получить доказательства того, что муж ее был человеком дурным во всех отношениях. Она стала общаться со своей скромной свекровью, которая прежде большого интереса у нее не вызывала, с Илюшиными двоюродными сестрами, с друзьями детства и всеми, кто фигурировал в старой записной книжке. Оказалось, что Илью в седьмом классе выгоняли из школы за кражу какого-то объектива в фотокружке Дома пионеров и даже занесли в какую-то милицейскую картотеку.

Оказалось, что был случай, когда его поймали на подделке документов – не очень важных документов, всего лишь читательского билета в Историческую библиотеку. Но ведь непорочно же? Выяснилось и про первую семью Ильи. Что ребенок, которого он оставил, был больной, и помощи никакой он своей первой семье не оказывал. Что первая жена была тиха и глуповата, но все годы, что они жили вместе, Илью содержала.

– Да, да, конечно! – почти обрадовалась Ольга, когда какие-то дальние, седьмая вода на киселе, люди рассказали ей все эти гадости. Ведь и с ней, с Олей, он вел себя как паразит и потребитель: она работала, рук не покладая, зарабатывала немалые деньги, а он то сидел в библиотеке, то что-то фотографировал, то катался на велосипеде или путешествовал, и все за ее счет! То есть он зарабатывал своими книжно-фотографическими делами, но в дом никогда ни копейки: все на свои забавы и тратил. И советская власть здесь была ни при чем, просто это был такой паразитический способ жизни!

Подруга Тамара первой догадалась, что Ольга сходит с ума. Как будто в благородного и великодушного человека вселился бес. Когда Ольга говорила об Илье, у нее менялся и тембр голоса, и манера речи, и даже самый словарь. Прежняя Оля и слов таких не знала. Тамара долго колебалась и в конце концов объявила подруге, что с безумием надо бороться, и если она не сможет сказать «нет» своей разбушевавшейся ревности, то попадет в психушку.

Но Ольга была красноречива и всех умела убедить, что дело не в болезни и ревности, а в правде и справедливости, и пока она говорила, все звучало очень логично и доказательно, но стоило выйти за дверь, как все Ольгины построения снова выглядели как порождение сжигающего ее безумия. Такова была сила убеждения Ольги, и только один Костя не поддавался. Он все любил и любил Илью и совершенно не собирался осуждать его за нечеловеческую подлость.

Да что теперь вообще было говорить о Косте? Он весь с потрохами принадлежал маленькой хрупкой девочке с заусенчатыми ногтями. Ни о каком отъезде он и не помышлял: вся жизнь его была здешняя, понятная.

– Мамочка, ты, если хочешь, уезжай. Без меня.

Отдельный большой скандал Ольга устроила сыну, когда обнаружила у него в столе пачку писем от Ильи, присланных не на домашний адрес, а на домашнюю почту «до востребова-

ния». Почтовое отделение было у них в подъезде, на первом этаже. Сначала, уняв дрожь в руках и ногах, она прочитала письма. Длинные письма, замечательно написанные, – о впечатлениях человека, впервые покинувшего Советский Союз. Первое венское письмо Косте было приблизительно о том же, о чем писал ей: о преодолении миража, о недоверии к действительности, так сильно отличавшейся от того, к чему привык за всю жизнь глаз, нос, вкус. В другом письме, написанном Косте накануне отлета в Америку, она прочитала глубоко задевшую фразу о том, что «выживание здесь, на Западе, связано напрямую со способностью полностью отречься от всего, что было нажито там, в России». Теперь она и себя отнесла к тому, от чего надо было отречься для выживания. Дальше шли письма уже из Нью-Йорка, там многое дублировалось с тем, что он писал ей – о трагическом несовпадении культур, русской и американской, о «поверхности» американской культуры не в банальном, общепринятом смысле, а с точки зрения поверхности как таковой: отмытая поверхность человеческого тела, пахнущие стиральным порошком и химчисткой вещи, сверкающий чистотой асфальт, и любая обложка, завертка, оболочка имеет не меньшее значение, чем внутреннее содержание. О том, как он целый день провел в поисках объекта съемки, пока не нашел большой свалки строительного и обычного, общечеловеческого мусора в центре Гарлема, на фоне которой сидел улыбающийся беззубый негр в белоснежной майке с банджо в руках. Последнее по времени письмо из Америки было печальным и странным. Илья писал совсем еще юному Косте: «Только полная смена кожи, приобретение новой поверхности с новыми рецепторами обеспечивает выживание. Как ни странно, это не касается внутреннего содержания. Свои мысли, самые оригинальные, самые несозвучные их малопонятной для меня жизни, ты можешь держать при себе. Это никого не интересует. Но, чтобы войти в это общество, надо выполнять его несложные ритуалы коммуникации. Идиотский балет западной жизни. Я готов, хотя это вынуждает меня к ряду тяжелых решений».

Письма эти представились Оле разоблачительными. Она даже подумала, что ей было бы легче пережить этот разрыв с Ильей, если бы он действительно влюбился в какую-нибудь молодую красотку и умницу. И тут же себя честно поправила: нет, было бы также тяжело. В конце концов, не все ли равно, по какой причине он ее оставил, из-за новой любви или из корысти. Плохо было и то, и другое. Истинного мотива его отъезда она так и не вычислила. Из любви, из доверия, из душевной невинности.

Ольга укоряла Костю в предательстве, чувствуя одновременно несправедливость своих претензий к сыну, но письма у него конфисковала. Костя промолчал.

Он тоже жалел мать, но не мог с ней согласиться. В особенности с тем, что она влезла в ящик его письменного стола, где, кроме писем, в дальнем уголке лежали презервативы. Это обстоятельство его и смущало, и приводило в ярость. Он не понимал, что, погрязая с головой в ревности, на бумажные пакетики она вообще не обратила внимания.

Тем временем выяснилось, что двоюродная сестра университетской приятельницы живет в Париже и хорошо знакома с этой самой киевской Оксаной. И от нее поступили новые сведения, подтверждающие Ольгины подозрения. Никакой это не фиктивный брак! Оксана, старая кошка, влюблена в Илью и даже увеличила свое жилище в Париже, с двухкомнатной на трехкомнатную, в ожидании молодого мужа...

Тамара заклинала: Оля, смени пластинку. Вырви и выбрось, так нельзя. Нет его, считай, что умер. Живи своей жизнью. Ольга только отмахивалась.

Года не прошло с отъезда Ильи, как умер Афанасий Михайлович. Похоронили на Ваганьковском кладбище, в хорошем месте, где высшие военные лежали, но без пальбы. Какой он там был генерал, никто не помнил. А ведь он в военные годы прошел ногами всю Европу, закончил в Вене, подполковником. Воевал не в штабах. Строил мосты, наводил переправы.

Смерти отца Ольга почти не заметила.

С яростью думала о том, что теперь она останется в этой партийной квартире с матерью, которая вот-вот выйдет на пенсию, с Костей, с его миловидной Леночкой. А что будет в жизни у нее?

Дура, дура, надо было ехать с Ильей! Но теперь было все испоганено, испакощено, истоптано. Как раз с этим смириться было труднее всего. Поехала бы тогда, и вся жизнь развивалась бы по-другому

По мере того как ее бурные жалобы и претензии к бывшему мужу складывались в затвердевшие формулы, живая ярость превращалась в не менее живую ненависть. Она все худела и желтела, становилась похожей на сухую луковицу, и живот болел, и к этому прибавились другие неприятные симптомы.

Илья тем временем пробивал себе путь на Западе, но успеха все не получалось. Переписка с Ильей прервалась после того, как Ольга переслала его жене Оксане письмо, где он писал Ольге о необходимости фиктивного брака для устройства жизни и об их любви, вечной и бесконечной.

На второй год разлуки поставили Ольге новый диагноз – рак. Ее начали лечить в онкологическом институте, ей делалось все хуже и хуже, подруге Тамаре врачи намекнули, что процесс необратим и чтоб готовились к худшему. Антонина Наумовна перестала ходить в больницу. Боялась более всего, что Оля умрет на ее глазах.

Тамара, свежее обращенная христианка, старалась все делать по-хорошему и не оставляла до последнего попыток наставить Олю на путь примирения и любви. Но все не получалось: к церкви Ольга не испытывала ни малейшего интереса, от священника отказывалась и даже пугалась, когда Тамара о нем заговаривала, а все свои беды и смертельную болезнь взваливала виной на Илью. А он к тому времени наконец поднялся из безвестности и бедности, перебрался в Мюнхен, его взяли на радиостанцию «Свобода», он вещал на Россию. Оля его передач не пропускала. По ночам включала транзисторный приемник, ловила проникающий через глушилку голос из Мюнхена и слушала в окаменении. Что она при этом переживала?

Тамара, глядя на ее горькое лицо, решила написать Илье, что Ольга умирает, что Бог ждет от всех прощения и любви и надо бы ему, Илье, сделать первый шаг...

Ничего нового не узнал Илья из этого письма, поскольку переписывался с Костей и знал обо всех печальных событиях. Он был не бесчувственный. Письмо писал долго, каждую фразу взвешивал, обдумывал, примеривал к Олиному положению.

Был конец декабря, многие больные выписывались к Новому году, некоторых отпускали на несколько дней домой. Тамара пошла к лечащему врачу просить, чтобы и Оле дали возможность справиться Новый год дома.

– Под мою ответственность, – настаивала Тамара.

Врач посмотрела на нее внимательно и сказала:

– Хорошо, Тамара Григорьевна, выпустим. Если доживет...

Тут как раз и пришло письмо от Ильи. Не письмо, а шедевр. Возвысил их прошлое, описывая его как лучшие дни в жизни, каялся в грехах, прося прощения и намекая, с некоторым перебором пафоса, но очень убедительно, на их неизбежную встречу, которая с каждым днем приближается.

И произвело оно переворот в течении Ольгиной жизни и в ходе болезни. Она прочитала письмо, отложила его в сторону и попросила у Тамары косметичку. Посмотрела на себя в маленькое зеркало, вздохнула и напудрила нос – пудра легла розовым пятном по желто-восковому лицу, от Ольги это не укрылось. Она попросила Тамару купить ей другую пудру, более светлую.

– А эта розовая при моем цвете лица будет как румяна, – и улыбнулась своей прежней улыбкой, так что образовались сразу четыре ямки – две круглые в уголках губ и две длинные – посреди щек.

Она перечитала письмо еще раз, снова потянулась к косметичке и что-то подправила на лице. Перед Тамариным уходом попросила ее принести завтра хороший большой конверт.

Хочет ответ писать, подумала Тамара. Но ошиблась. Наутро Оля положила заграничный конверт в большой и спрятала на дно тумбочки. Тамара ждала, что Оля прочитает ей письмо от Ильи, но та и не думала. В конце концов Тамара не удержалась и спросила, что Илья пишет. Оля улыбнулась призрачной улыбкой и ответила очень странно:

– Знаешь, Бринчик, ничего особенного он не написал, просто все встало на свои места. Он умный человек, и он все понял. Мы же не можем жить порознь.

В тот день Оля встала и добрела до столовой.

Говорят, что иногда такое случается: начинает работать в организме какая-то запасная программа, включается заблокированный механизм, что-то обновляется, оживляется, черт его знает что... Бог его знает что... То самое, что происходит при чудотворных исцелениях. Святые, совершающие чудеса именем Господа нашего Иисуса Христа, не знают биохимии, а биохимики, прекрасно знающие о разрушительных процессах, связанных с онкологическими заболеваниями, совершенно не ведают, на какую тайную кнопку, запускающую эту запасную программу, нажимал Иоанн Кронштадтский или блаженная Матрона.

После Нового года в больницу Ольга не вернулась. Стала лечиться сама, как больная кошка, убегая в лес поесть целебной травы. Вокруг Ольги теперь крутились какие-то целители и знахарки, приезжал знаменитый травник с Памира, она принимала настои, ела землю с заповедных мест, пила мочу. И гадалки к ней приходили, ворожеи. Откуда она их брала?

Антонина Наумовна, примирившаяся с мыслью о близкой смерти дочери, находилась в большом смущении. Смерть от рака была понятнее исцеления такими вот отсталыми до неприличия методами. Врач, предвещавшая близкий исход, приезжала домой к Ольге, осматривала, ощупывала, просила сделать анализы и обследования, но больная только улыбалась загадочно и мотала головой: нет, нет... Зачем?

Врач недоумевала. Такие опухоли не рассасываются. Щупала подмышки, нажимала на пах. Железы уменьшились. Но если это распад, то должна быть интоксикация. А у Оли желтизна сошла, даже в весе немного прибавила. Ремиссия? Откуда? Почему?

Через полгода Оля начала выходить на улицу, и подруга Тамара стала навещать ее все реже. Тамаре было немного обидно, что свершившееся на глазах Божье чудо Ольгой недостаточно оценено. Тамара снова и снова заводила разговор о том, что надо креститься хотя бы из благодарности Богу за то чудо, которое совершается. Оля смеялась почти совсем прежним смехом, детским, со всхлипыванием:

– Бринчик, ты умная и интеллигентная женщина, большой ученый, ну почему ты выбрала такую смешную веру, такого Бога, который хочет от людей благодарности, или наказывает, как щенят, или награждает пряниками. Хоть бы ты в буддисты подалась, что ли...

Тамара обижалась, замолкала, но ставила свечки за здоровье болящей Ольги и писала записочки на молебен. Однако, несмотря на постоянную обиду, Тамара не могла не заметить очень важной перемены. Ольга больше не говорила об Илье. Вообще. Ни хорошего, ни плохого. А когда Тамара сама подводила к нему разговор, Ольга уворачивалась:

– Да все в порядке! Он уже решение принял, теперь только вопрос времени. Не будем об этом.

И это тоже было чудо. После стольких месяцев непрестанного разговора только о нем, только о нем...

Ольга, увлеченная своей обновленной жизнью, не совсем заметила Костину женитьбу. Костя выехал из дому, поселились за городом, в Опалихе, у тещи, и вскоре родились у детей дети – мальчик и девочка, близнецы. Ольга растрогалась, но как-то однократно. Не было у Ольги никаких ресурсов ни для чего, кроме выздоровления. Все душевные силы уходили на это.

Хотя Ольгина болезнь бежала прочь, Оля не уставала ее преследовать. На окнах в столовой прорастивались пшеничные зерна, хлеба кислого она не ела, пекла себе какие-то лепешки из отрубей и сенной трухи, варила травы на «серебряной» воде. Здесь же, на подоконнике, стояли два кувшина, в которых мокли серебряные ложки, отдавая водопроводной воде свою целебную силу.

Хитроумное провидение что-то встряхнуло, пересмотрело, подвинтило, за год Ольга почти совсем пришла в порядок, снова набрала работы и колотила по машинке по шесть часов в день, не меньше. Жили они теперь в большой квартире вдвоем с матерью.

Ольга была настолько сосредоточена на себе, точнее, на обещанном ей совместном будущем с Ильей, что не заметила, как исхудала и пожелтела Антонина Наумовна. Вероятно, заболела она той самой болезнью, которая отступила от ее дочери. Тоже началось с желудка, потом перекинулось в кишечник.

Когда это произошло, Ольга стала ухаживать за матерью умело и с большим вниманием. Чувство было очень странное – как будто она сама за собой ухаживает. Ведь совсем недавно все это с ней происходило.

Никогда не были они так близки и нежны друг с другом. Ольга радовалась, что не уехала с Ильей и может теперь погладить мать по руке, сварить ей бульон, который она, скорей всего, и пить не станет, перестелить простынку, протереть уголки рта. Антонина Наумовна все просила дочь отправить ее в больницу, но Оля только улыбалась:

– Мамочка, больницу может выдержать только очень здоровый человек. Тебе дома плохо? Нет? Тогда забудь про больницу.

Разум Антонины Наумовны слабел. Она забывала целые большие куски жизни, а другие, маленькие, вдруг откуда-то приплывали. В последние дни жизни она вспоминала только дальнее прошлое: как все куры у бабушки в один день перемерли, как лошадь понесла и вывалила ее с матерью из саней, и последнее – как познакомились с Афанасием на партучебе. Всей последующей жизни – никаких заседаний редколлегии журнала, никаких летучек в обкоме партии, президиумов, докладов, конференций – она не помнила. Одни только семейные мелочи.

– Ах, с головой что-то не так, что-то повернулось, – шептала она и силилась вспомнить недавнее. – Все как в яму провалилось.

В комнате, освещенной настольной зеленой лампой, она скончалась в одиночестве, легко и неосознанно, сказавши довольно внятно: «Мама, мама, батя...»

Но слов этих никто не слышал. Утром Ольга обнаружила мать холодной и сразу же позвонила в Союз писателей, была там специальная похоронная услуга...

Все спроворили самым достойным образом. Место уже было на Ваганьковском, возле генерала.

Похороны были горше горького. И не потому, что слезы и рыдания, и печаль, и тоска, и даже, может, страшное чувство вины. Наоборот. Ни у кого из провожающих ни слезинки, ни печали, ни даже простого сожаления. Слегка подмороженные лица, пристойные, приличествующие случаю. Отметил это обстоятельство – полнейшее равнодушие окружающих к смерти литературной деятельницы – устроитель похорон от Союза писателей Арий Львович Бас.

Костя после смерти бабушки вернулся в Москву. Без особого желания он пошел навстречу Олиной просьбе. Костя учился к тому времени на четвертом курсе, Лена на третьем – отстала из-за академического отпуска.

Все поменяли, перекроили. Костя, по настоянию Оли, перебрался в бывшую дедову комнату. Там был большой удобный письменный стол и второе рабочее место – секретер с откидной доской. Это был кабинет. Спальню устроили в бабушкиной комнате, «малой коммунистической», как звал ее Костя за аскетизм убранства, зеленый абажур на дубовом столе и Ленина с бревном на плече, глядящего со стены. Леночка купила тахту на место кожаного дивана, завела подушки с оборками, а Ленина заменила подсолнухами Ван Гога.

Оля уступила свою комнату внукам и перебралась в бывшую столовую. Знаменитая кровать с колонками и херувимами снова откочевала в антикварный магазин на Смоленскую набережную. Ели теперь на кухне, как те советские люди, которые уже выехали из коммуналок в отдельные квартиры, но про буржуазные «кабинеты» и «столовые» слухом не слыхивали.

Тихая Леночка неприметным образом взяла дом в свои руки, обо всем заботилась, чисто убирала и вкусно готовила. Каждое утро приезжала Леночкина мать Анна Антоновна, кормила, гуляла, укладывала детей спать.

Героическая девочка была Леночка. Прибегала из института, выпроваживала мать и принимала смену. Ольга внуками не занималась, но Леночка вовсе не обижалась на свекровь. Напротив, была благодарна. Начало своей семейной жизни они провели в Опалихе. Их жилье там было – комната о двух окнах с покатым полом, так что приходилось под колесики детских кроватей деревянные чурочки подкладывать, чтоб не катились, и жили они в этой комнате вчетвером. Воды горячей в том загородном доме не было. Хорошо хоть водопровод и канализацию провели за два года до рождения детей.

Генеральская квартира ходила ходуном. Мебель, купленную и вычиненную дедом, беспощадно двигали с места на место. Мишка и Верочка, двухлетние, хватались лапками за карельскую березу. Мишка пристрастился ковырять птичьи головы гостиного гарнитура, пока Костя не вывез весь гарнитур в комиссионку на Смоленскую набережную. Директор магазина уже их знал, дал неожиданно большие деньги.

Преданная Тамара забегала довольно часто. Но по мере того как Ольга крепла, отношения между ними принимали прежнюю форму: Ольга командовала, Тамара исполняла распоряжения. Подруга Галя готовилась к перемене жизни, изучала иностранный язык на вечерних курсах и почти не появлялась. Да и муж Гена был против этой дружбы – неподходящая из Ольги подруга!

Про Илью Ольга как будто не вспоминала. Тамара радовалась, что прошло наваждение, удивлялась тому, как крепко оно было связано с болезнью...

Но кое-чего Тамара не знала. Ольга издали следила за Ильей. Хотя после его прощального письма отношения их как будто снова прервались, но теперь она знала, что Илья принял жизненно важное решение и для окончательной победы нужно только время. Оля знала, что Костя с отчимом продолжают переписываться, она видела знаки их общения: у детей откуда-то возникали невиданные игрушки и заграничные одежки. Но теперь ее это не раздражало, а, напротив, лишь служило подтверждением скорых перемен.

И еще был у Ольги тайный информатор, от которого она знала, что жена Ильи пьет, и он ее стесняется, никуда с собой не берет и отправляет ее время от времени из Мюнхена обратно в Париж. А она за ним таскается и страшно ему докучает.

Знать это Ольге было очень утешительно. Она затаилась и ждала, что скоро-скоро Илья сам объявится. Дальше не загадывала: на этом мысль ее останавливалась. Было достаточно.

Здоровье Олино наладилось, она снова обросла заказами, сидела в словарях и бумажках, работала даже с большим, чем прежде, увлечением. Ночами она ловила радио «Свобода», слушала все передачи, где пробивался голос Ильи, и теперь была уверена, что все кончится хорошо... Ей все еще было интересно слушать «против советской власти», но огонь прежнего негодования сильно поостыл с отъездом Ильи.

Ольга переводила теперь технические патенты, это были отличные заработки. Курсы соответствующие она прошла еще до болезни. Время от времени она не ленилась доехать до Центрального телеграфа, заказывала парижский номер телефона. Иногда там не подходили, но по большей части подходила женщина: чем ближе к ночи, тем пьяней было ее «Жекуте! Алло! Жекуте!», и Ольга сразу же вешала трубку. Илья никогда не подходил к телефону. Ясно, что разошлись или, по меньшей мере, разъехались!

Так, в работах и ожидании развязки своей судьбы, Ольга пребывала в полной уверенности, что скоро все разрешится и они с Ильей опять будут вместе.

Настал день, когда Илья сам позвонил из Мюнхена. Голос был узнаваемый, но какой-то спекшийся.

– Оля! Я все время о тебе думаю! Я люблю тебя! всю жизнь только тебя. Я тебя догнал и перегнал. У меня нашли рак почки, операция на будущей неделе.

– Откуда ты знаешь, что рак? Пока не сделали биопсию, ничего не известно! Я все про это знаю! Ты же знаешь, я выскочила! Своими силами! – кричала она в трубку, а он молчал и даже не пытался ее перебить. – Главное, не допускай до операции!

Но главное было другое: он любит ее, только ее, и любит навсегда.

Второй раз он позвонил из клиники уже после операции. Теперь они разговаривали почти каждый день. Он читал ей по бумажке результаты анализов, она тут же говорила ему, какие травы он должен пить, и покупала их в московских аптеках и у своих травников, и находила okazji для отправки в Мюнхен, и посылала ему мази и притирки, подробно объясняя, что, где и когда мазать. Когда ему начали делать химиотерапию, она пришла в ярость и кричала в трубку, что он себя губит, что от химии вреда больше, чем от рака:

– Немедленно выписывайся и приезжай! Я все про это знаю! Я вытащила себя, я и тебя вытащу!

В воздухе что-то происходило, и Ольга, хотя совсем отошла от бывших друзей-диссидентов, чувствовала: восьмидесятые, неподвижные, тяжелые, клонились к закату, и вопль ее о приезде уже не казался сплошным безумием. Он ответил ей то самое, что ей больше всего хотелось бы слышать:

– Нет, Оленька, пока это невозможно. Если я выскочу из этой истории живым, устроим так, что ты сюда приедешь...

Он продолжал ей звонить, голос его становился все слабее и звонки реже. А потом раздался последний, как из-под земли:

– Оля, я звоню тебе по мобильному телефону! Мне приятель принес прямо в палату! Представляешь, до чего дело дошло! Вот прогресс! А я весь в проводах и трубках, как космонавт. Кажется, что скоро дадут старт, и я улечу...

И тихо засмеялся своим захлебывающимся, немного визгливым смехом.

Через два дня Ольге позвонили из Мюнхена и сообщили о его смерти.

– Ага, значит, так, – сказала Ольга загадочно и замолчала.

Вечером пришла Тамара, они выпили в молчании по рюмке водки. Костя разливал и подкладывал им на тарелки сыр и колбасу.

Через несколько дней Ольга обнаружила у себя на голове какие-то странные образования, вроде жировиков. Они безболезненно перекатывались под кожей. И под мышками тоже катались шары, скрепленные где-то, как гроздь винограда.

Сообщение о смерти Ильи лишило Ольгу сил, она слегла и не вставала. Тамара прибегала каждый вечер, сидела с ней до поздней ночи, все пыталась ее уговорить встретиться с врачом, но Ольга только улыбалась смутно и пожимала плечами. Тамара, хотя всю свою жизнь занималась эндокринологией и была уже доктором наук, собственно медициной никогда не занималась, никого не лечила, с больными почти не соприкасалась, тем не менее понимала, что идет бурное метастазирование и надо срочно делать химиотерапию. Но Ольга блаженно улыбалась, гладила Тамару по руке и светленько шептала:

– Бринчик, ты так ничего и не поняла.

Однажды вечером Ольга рассказала Тамаре сон, который приснился накануне: на огромном ковровом лугу стоит большой зеленый шатер, а к нему тянется длинная очередь, целая толпа народу, и Ольга становится в самый хвост, потому что ей непременно надо войти в этот шатер.

Тамара, с ее прорезавшимся мистическим чутьем, вся обмерла:

– Шатер?

– Ну да, вроде цирка шапито, но очень большой. Осмотрелась и вижу, что очередь – все сплошь знакомые лица: какие-то девочки из пионерского лагеря, я их с детства не встречала, школьные учителя, и университетские лица, и доцент наш... Просто демонстрация целая!

– И Антонина Наумовна?

– Да, и мама, конечно, и бабушка моя, которой я сроду не видела, и все родные лица – Миха, рядом с ним какие-то мальчишки, детишки, Санечка, Галка со своим хмырем.

– Как, и живые, и мертвые вместе?

– Ну да, конечно. И собака какая-то прямо мне под ноги катится и вроде улыбается. Смотрю, а ее на поводке девочка держит. Была такая трогательная девочка Марина. Забыла, как собаку... Гера! Гера собаку звали! И еще много-много людей... И вдруг, представляешь, вдалеке, возле самого входа, замечаю Илью, и он из самого начала очереди машет мне рукой: «Оля! Иди ко мне! Иди! Я занял тебе место!»

И тут я стала к нему пробиваться через толпу, и все заволновались, почему это я без очереди, и мама спросила, зачем это я лезу впереди других. Но тут появился большой дед с бородой, прекрасного вида, и я поняла, что это мой дед родной Наум, и он повел над всеми рукой, и они расступились, а я побежала к шатру. А шатер вроде уже и не зеленый, а золотом отливает. Смотрю – Илья улыбается, видно, ждет меня. Выглядит очень хорошо, совершенно здоровый, молодой, поставил меня с собой рядом, руку на плечо положил. И тут появилась эта Оксана, и она все лезет к нему, а он ее как будто не видит. А двери никакой нет, такая толстая ткань, как портьерная, что ли, и этот полог как раз отогнулся, а оттуда музыка – не могу сказать какая, с запахом таким, какого нельзя вообразить, и как будто светится.

– Чертог, – одними губами прошевелила Тома.

– Да ну тебя, Бринчик! Какой еще чертог? Черт-те что несешь.

– Ты что говоришь, Оля? – ужаснулась Тома.

– Ну ладно, ладно, не пугайся так. Пусть по-твоему, чертог. Все равно словами не объяснить. В общем, входим мы туда вместе.

– А там – что? – прошелестела Томочка.

– Ничего. Тут я проснулась. Хороший сон, правда?

Умерла Ольга на сороковой день после смерти Ильи.

Отставная любовь

В месяц раз вставал Афанасий Михайлович в пять утра, а не в семь, как обычно, брился особо тщательным образом, надевал чистое белье. Съедал хлеб с чаем, поверх старого кителя натягивал драповое пальто и ушанку. В штатской верхней одежде он чувствовал себя как коронованная особа на маскараде. И правда, никто его не узнавал, даже сторож в проходной у выхода из дачного поселка с ним не здоровался.

После вчерашнего снегопада все было чисто и свежо, как после генеральной уборки. Афанасий Михайлович дошел до автобусной остановки. На расписании, забитом снегом, не разобрать было, когда следующий автобус, и он встал под козырек. Две женщины ожидали автобуса – одна медсестра, не узнавшая его, вторая незнакомая. Но тоже, видно, из местных, деревенских. Он отвернулся, стал смотреть в другую сторону.

Он ехал на тайное свидание к сердечной подруге Софочке, поговорить-помычать, излить свою душу не душу, но что-то ведь и у генералов есть, услышать от нее, почему он так мается.

Дар у нее был объясняться от его лица. С того самого дня, как пришла она к нему в секретари в тридцать шестом году, когда он работал в Наркомате обороны, по своей военной специальности, по строительству, она умела высказывать все, что он не смог сложить правильными словами.

Ни разу не ошиблась. Никогда. Что надо, то и говорила. А чего не надо, того не говорила. Так до самого сорок девятого, с перерывом на войну. После войны, когда Афанасия Михайловича назначили начальником военно-строительного училища, он разыскал свою бывшую секретаршу, и снова она была при нем, как Аарон при Моисее. Он промычит что-нибудь невнятное, а подчиненные к Софочке бегут за разъяснениями.

У нее было воспитание и чувство такта. Воспитание – от гимназии, которую она посещала до пятнадцати лет, пока гимназии не исчерпались по причине революции. А такт – от природы. От природы же – обильная красота. Голову с большими бровями и глазами носила она чуть запрокинутой, потому что могучая коса, свитая простым узлом, тянула ее назад – до самого сорок девятого года. Потом коса была острижена. И хотя роста Софочка была небольшого, но из-за величественности груди внутри просторных синих и зеленых платьев, полных рук с большими красными ногтями на конце, широких округлых движений производила она впечатление женщины крупной. О, какой крупной – не по одним выдающимся статям, но по всему своему характеру. Прозвище было ее Корова. Она и впрямь была похожа на корову. На корову Европу. Но генерал об этом не знал. Хотя – что богиня – знал. И боготворил. Никогда не рождалось у него мелких мыслей, что изменяет жене. Жена была одно, а Софочка – другое. Совсем другое. И не случись ее в жизни Афанасия Михайловича, он бы и не узнал, что есть сладость любви, что есть женщина и какое глубокое забытие дает она утружденному строительной жизнью мужику.

За все годы, что она у него работала, до самого сорок девятого года, один-единственный раз, уже перед самым концом, поставила она его в неловкое положение. Встала перед ним на колени, уткнула лицо в габардиновые галифе и оставила в нескромном месте след своей красной помады. А что он мог сделать? Сказал – нет, про брата своего молчи.

«Какие тут за брата хлопоты, – подумал он тогда, – тебя бы сохранить». Однако не удалось.

Вызвали генерала в ПУР и объявили – секретаршу убрать.

Он, со своей обыкновенной кашей во рту, необходимый, ценный работник. А собеседник – молодой капитан, блондин с остатками пеньковых волос, глаза рядышком, белесой восьмеркой, голубые погоны... не посмотрели, что фронт прошел, заслуженный генерал, хоть полковником уважили бы...

– Любовницу, – говорит, – прикрываете! Вы знаете, что я знаю, что вы знаете...

– А, делайте как знаете, – отступился Афанасий Михайлович на втором часу разговора, – у вас свое ведомство, а я по дорогам, по мостам, по подъездным путям.

Белесый улыбнулся недружественно, кивнул. Но ему согласия уволить ее было мало. Пошел дальше торг мало-помалу. Разговор почти деловой, но капитан теснил и теснил: все знал – и про кабинетные дела, и про посещения тайные. Намекал криво, прямо не говорил, потом вдруг – раз! – а в Даевом переулке разве не навещаете? А с сестрой Софочкиной Анной Марковной разве не знакомились? Профессорша, да? А Иосиф Маркович, братец, актер из еврейского театра ГОСЕТ, совсем незнаком вам?

«Да под Софочку ли только копают?» – доперло до Афанасия Михайловича. Взмок весь.

Разойдемся ли? Разошлись – одной только подписью. Назавтра новую секретаршу прислали, а Софочки уже больше не было. Четыре года с лишним не было. В начале пятьдесят четвертого года вернулась она из Караганды. Год прошел, прежде чем они снова встретились. Да и встретились где! Смешно сказать! На рынке в Нахабине, ранним утром, в июне. Афанасий Михайлович редиску с морковкой покупал. Гости намечались в воскресенье, Антонина Наумовна хлопотала, забыла прислугу на рынок послать. Афанасий Михайлович сам и вызвался – из дому прочь в воскресный день, во избежание кухонной толчеи. Уехал один, на частной «Победе», без шофера.

Она его узнала первая – и в сторону. Косы уже не было, пышность опала, лицо прикрывала рукой, а рука та же самая, большая, с ямками под каждым пальцем. Только маникюра красного нет – еле розовый. А он руку ее узнал. Она этой рукой по плешивой голове много лет гладила и легко снимала одним таким движением смуту и беспокойство. Он пошел за ней, нагнал:

– Софья Марковна!

– Афанасий! – сказала она, прикрывая рот. – Боже мой!

Зубки ее белосахарные стояли через один.

– Освободилась?

– Одиннадцать месяцев, в июле прошлого года.

– Что же не объявилась? – И назвать не мог ни по имени, ни по имени-отчеству.

Она махнула прекрасной своей рукой и вроде как пошла по дороге вперед, прочь от него. Он нагнал, тронул за плечо. Она остановилась и заплакала. Он снял соломенную гражданскую шляпу и тоже заплакал. Была она не прежняя, совсем другая, но через мгновение слились в одно – та величественная красавица и теперешняя, похудевшая, подурневшая, но все равно лучше всех на свете.

Она жила на даче у сестры Анны Марковны, неподалеку. Он оставил машину возле рынка и пошел провожать ее до дачи. Шли молча, слов не говорили, – у обоих дух захватило. Он все думал об одном: знает ли она о той подписи? Не доходя до места, она остановилась:

– Здесь попрощаемся. Они не должны тебя видеть. Да и тебе не нужно. Знаешь, брата моего расстреляли.

«Знает, – подумал он. Сердце тошнотворно тянуло до самого живота. – Но что знает-то? Может, думает, что я на брата ее написал?»

Знакомила его Софа с Иосифом, веселый был парень, у Михоэlsa в театре работал и еще писал на еврейском языке какие-то побасенки. Виделись раза два. Но подпись-то Афанасий Михайлович поставил одну-единственную. И брат был ни при чем.

– Ты в Даевом по-прежнему?

– У сестры. Комнату заселили. Дворник живет, – сказала равнодушно, а он вспомнил ее пропахшую духами «Красная Москва» комнату, стаю подушек, коллекцию флаконов и собрание котов – фарфоровых, стеклянных, каменных. – Обещают вернуть, выселить дворника.

Комнату вскоре действительно вернули. Афанасий Михайлович стал звонить изредка по старому, еще довоенному номеру из телефона-автомата, хотел навестить. Софья Марковна долго отказывала:

– Не надо, не хочу, не могу.

А однажды сказала: приходи.

И он снова поднялся по черной лестнице, со двора, потому что комната Софьи выходила туда стеной. Он и прежде не приходил со стороны парадной, где дверь была большая, увешанная семью звонками, и в прежние годы он стучал ей в стену, и она откидывала большой крюк, заполняя собой и своими сладкими духами всю темноту сеней, и брала его за руку, и вела в свое гнездышко, в свои подушки, одеяла, и он укрывался в тепло ее роскошного, оседающего под ним тела.

И вся былая близость вернулась, и даже еще сильнее – потому что теперь это было навсегда потерянное и нечаянно найденное.

Началась вторая серия длинного кино о большой любви. Одно, правду сказать, изменилось. О работе ни слова. Софья Марковна, как всегда, вела себя с большим тактом. Ничего и не спрашивала. Про черные свои времена не рассказывала. Что он сам скажет, о том и речь. Разговор больше о домашних, о семейных делах. И все про Оленьку, про дочь. Оленьку же Софья Марковна от рождения знала, но заочно. Только по фотографиям. Однажды, незадолго до несчастья, еще в сорок девятом, он решился Софье Марковне показать Оленьку – купил три билета в театр, на детский балет «Айболит». Два билета в первый ряд дал Оле с подружкой, а третий, рядом, принес Софочке. Девочки сидели возле Софьи Марковны, и она смотрела на них, а они – на сцену.

Фотографии маленькой девочки висели теперь на стене в рамках. Так и дальше пошло – очень Софочка интересовалась Оленькой. Может, сам Афанасий Михайлович и не знал бы столько о своей дочери, если бы не собирал для Софьи этого домашнего досье: какую оценку за диктант получила, в какой музей ходила в прошлое воскресенье.

Годы шли, и узнавала Софочка и про поступление в университет, и про раннее замужество. Неудачное Олино замужество она не одобряла с самого начала. Говорила – нет, наша Оленька его интеллектуально выше, она найдет себе кого-нибудь поинтереснее, попомни мое слово. Оказалась права. Да во всем она была права. А когда начались Олины неприятности, Софья Марковна тоже ему правильно насоветовала: иди, Феша, на пенсию.

Сам бы он не решился, а ушел – спас себе здоровье. И после выхода на пенсию жизнь изменилась, в сущности, в лучшую сторону. Весьма в лучшую сторону.

О своем ежемесячном визите Афанасий Михайлович Софочку не предупреждал. Заведено не было. Она его ждала всегда, до двенадцати из дому не выходила. В холодильнике держала для него замороженный фарш для блинчиков. Быстренько заводила тесто, жарила наскоро тоненькие, как бумага, блинчики, заворачивала трубочками два мясных и один со сладким творогом. К мясным – рюмку водки на чабреце, а творожный с чаем. Вся еда, которую она готовила, была чуть сладковата – и мясо, и рыба. И сладость эта была как будто не от сахара, а ее собственная, как и запах ее тела, одежды, постели.

Двадцатого марта ехал к подруге генерал последний раз, о чем не догадывался. Знал только, что месяца не прошло, как он ее навещал, а всего две недели с хвостиком, но вдруг одолела тоска, и сорвался он преждевременно. Автобус не опоздал, электричка не подвела. Приехал на Рижский вокзал по расписанию, в девять пятьдесят. За городом было тихо, а на площади мела метель. Пока он покупал цветы – мимозу, метель вдруг утихла, заиграло солнышко. Сел в троллейбус. По времени шло все обыкновенно, но почему-то забеспокоился Афанасий Михайлович. А вдруг дома нет? Мало ли что бывает – к врачу пошла или за покупками. Нашупал ключ в кармане. Софочка давно уже выдала ему ключ от комнаты на всякий случай. Что

было бессмысленно, потому что от входной двери ключа не было. Он бы все равно без нее в квартиру не вошел, потому что черный ход всегда был заложен на большой крюк.

Когда подходил к дому, снова замело. Афанасий Михайлович заметил, что около дома людно, стоял автобус, несколько легковушек. Но это была чужая жизнь, к нему не имеющая отношения. Он поднялся по черной лестнице, постучал в стену и стоял под дверью, ожидая, что вот сейчас крюк откинется. Ждал довольно долго: не открывали. Он снова постучал – надо было предупредить, позвонить, что ли. Но звонки между ними были не приняты. Софья Марковна от прежних времен телефону не доверяла.

«Пойду с парадного», – решил Афанасий Михайлович и спустился во двор.

Автобус маневрировал возле подъезда, подъезжая задом поближе к парадному. Люди с цветами отбрызнули в стороны.

«Катафалк», – с равнодушием отметил Афанасий Михайлович.

А вслед за этим его ожгло: кого тут хоронят?

И понял мгновенно, что ее, Софью Марковну.

Он посмотрел на дальнейшее от подъезда окно – оно в этот миг распахнулось, как подтверждение догадки. Из растворенных на обе створки дверей парадного выносили огромный голый гроб. Выносили не по-людски, не ногами, головой вперед. И голова, высоко поднятая на подушке, была та самая – красивая голова, бледно-желтое лицо, красным накрашенные губы. И сладкий запах ударил ему в нос.

Генерал покачнулся и стал медленно оседать. Кто-то его подхватил – упасть не дали. Под нос ему сунули нашатырь, он очнулся. Женское лицо, которое он увидел прямо перед собой, было почему-то знакомым. Той же породы, что Софья Марковна, – большая голова, крупные карие глаза, мужской размах плеч. Конечно, это была ее сестра Анна Марковна, Анечка.

– Вы! Вы! – гневно, но очень тихо сказала ему Анна Марковна. – Что вы здесь делаете? Как вы посмели? Вон отсюда!

И он пошел прочь. Он не видел, как изготовленный на заказ гроб – для таких толстых готовой продукции не было – с трудом втискивали в распахнутую заднюю дверку катафалка, как погружались в автобус многочисленные еврейские родственники. Он не видел также двух своих прежних сослуживиц, с которыми Софья Марковна поддерживала отношения уже после возвращения из Караганды.

Они его узнали и переглянулись. Они еще долго будут судачить о нем, о Софочке, строить разные предположения. И в конце концов придут к мнению, что Софочка дурила им голову, рассказывая о высоком давлении, о старости и одиночестве, а на самом деле встречалась со своей отставной любовью. Подумали, посчитали. Получилось, с тридцать пятого-то – тридцать два годика, если не считать вынужденных перерывов.

Генерал, сжимая в посиневшей руке хвост мимозы, шел к троллейбусу. Выходило, что все знала Софочка. Значит, простила.

Все сироты

Похороны были горше горького – и не потому, что слезы, и рыдания, и печаль, и тоска. Наоборот: ни у кого из провожающих ни слезинки, ни печали. Отметил полнейшее равнодушие окружающих к смерти литературной деятельницы устроитель похорон от Союза писателей Арий Львович Бас. Из своих семидесяти четырех лет шестьдесят он занимался похоронным делом. Ремесло это было наследственным. Еще дедушка был главой погребального братства в Гродно. Знал свое дело Арий Львович во всех деталях. Он был не только тончайший знаток умирающей профессии погребений, но также и поэт этого древнего ремесла.

Великий церемониймейстер, каких только знаменитых писателей он не хоронил – Алексея Толстого, Александра Фадеева, даже самого Горького – отчасти... Первые большие похороны, в которых он принимал участие еще не в качестве главного распорядителя, но первым помощником, были в тридцатом. Тогда-то он впервые и столкнулся с Антониной Наумовной. Запомнилось. Ох, запомнилось!

В тот апрельский день около полудня позвонили и велели ехать обмерять покойника-самоубийцу. Арий поехал в Гендриков переулок, да оказалось – не туда. Застрелился знаменитый поэт в другом месте, в Лубянском проезде, где была его рабочая комната. В Гендриковом вместо покойника Арий обнаружил троих живых: двух мужчин из ОГПУ и эту самую Антонину, вроде писательницу.

Мужчины выворачивали бумаги из стола, она что-то писала. Мужчина с большой черной шевелюрой сверкнул на Ария цыганскими бесстыжими глазами – вон отсюда! Арий, испугавшись до полусмерти, скатился с лестницы и только внизу пришел в себя. Умудренный профессией, мертвых он не боялся. Боялся живых. Через два часа покойника привезли, на носилках подняли на четвертый этаж, и только когда те трое, с двумя портфелями, вышли из подъезда, Арий снова поднялся наверх.

Несколько человек, среди них две дамы, одна сильно плачущая, стояли в коридоре. Дверь в комнату была распахнута, возле двери ругались двое. Речь шла о печати, которую один из них только что снял с двери, второй выговаривал:

– Вот сам и будешь отвечать. Раз опечатали, значит, нельзя туда входить.

Второй грубо отбрехивался:

– А куда, куда покойника-то? В коридоре ставить? Что же вы все бздите от каждой печатки? Мне приказали – на место определить!

Арий смерил – рост сто девяносто один. Гроб на заказ.

Похороны были невиданные. Тысячи людей запрудили улицу Воровского, а потом вся эта толпа шла пешком к Донскому монастырю вслед за грузовиком, на котором везли гроб и единственный венок, железное чудовище из странных деталей, серпов и молотов. И ни одного цветка. Странные и великолепные были те похороны. Весьма великолепные. Горя такого общего никогда прежде он не видел. Да и после. Разве тридцать лет спустя, на похоронах Пастернака.

Арий на своей похоронной должности окреп, без него теперь никого из писательского звания не хоронили. Если только случалась смерть далеко от Москвы. В послевоенные годы он постоянно встречал Антонину в почетном карауле при писательских гробах, а то и в числе выступающих.

Мог ли думать тогда, мальчишка, скольких похоронит. Арий любил своих покойников. Только покойников и читал. Пока живы писатели, руки не доходили читать, а уж тем более любить. Опять-таки настоящий их размер только на похоронах и определяется.

Антонина-то теперь оказалась совсем ничто, пшик. И провожающих всего ничего – шесть человек: дочь Ольга и внук покойной Костя с женой, подруга дочери, соседка по лестничной

клетке и родная сестра покойной Валентина, которую семья не видела лет десять. Дочь находилась в состоянии глубокого удовлетворения: примирилась под конец с матерью, долг свой исполнила до копейки, да и ушла Антонина Наумовна тихо, без особых страданий, под морфием. А любви давно между ними не было, надо признать.

В этот день Арий Львович, похоже, страдал больше всех прочих. Таких ничтожных похорон давно у него не было. Хоронили Антонину Наумовну, конечно, по писательскому обряду, гроб установили в Центральном доме литераторов, где и настоящие гражданские панихиды устраивали, человек по тысяче. Поставили ее в Малом зале, да и он был пуст. Ни друзей, ни официальных лиц. Новая редакторша журнала прежнюю терпеть не могла и не пустила коллектив на похороны, назначив на этот день собрание. Однако отправила со старой секретаршей венок из похоронных елок и белых лент – «От коллектива...». Арий Львович сам сказал казенное слово, он давно уже умел: что настоящая коммунистка и верный ленинец. Предложил проститься.

Потом гроб отвезли в Донской крематорий. Секретарша редакции не поехала от старости лет. Гроб поставили на подставку, и на этом возвышении серенькое лицо Антонины Наумовны, с запавшим ртом и выступившим вперед носом, выглядело картонным, и она поехала вниз под музыку, пока не сомкнулись створки подземелья.

Костя держал мать под руку и чувствовал через пальто, как тонко ее предплечье, как мала она ростом и как ничтожно время человеческой жизни, даже такой длинной, как бабушкина. И как грустны похороны человека, которого никто не любил, не жалел...

«Выбросили, как старый валенок в мусоропровод», – подумал Костя с горечью. Сознал, что и сам бабушку не любил...

После утопления гроба в искусственной преисподней Арий Львович пожал руки Ольге и Косте и сказал, что если они напишут заявление о материальной помощи, то он постарается ее выбить.

Урну после кремации надлежало забрать через две недели.

«Все же лучше сразу в землю, – подумал Костя. – А то непонятно, где она будет эти две недели, как будто в камере хранения...»

Ольга пригласила всех домой помянуть ушедшую. Невестка Лена уехала из крематория к малым детям. Арий Львович считал, что его обязанности простираются до конца вечера, и он раскрыл дверь автобуса, пропуская тусклых женщин. Костя вошел последним. Хотел сесть с матерью, но она уже заняла место рядом со вновь объявившейся теткой. Тетка была помоложе Антонины Наумовны, но похожа на нее строгим носатым лицом. Арий Львович смотрел в окно. Ему было о чем вспоминать.

Стол Ольга накрыла еще перед уходом. Тело покойной сразу после смерти свезли в морг, и Ольга не торопясь, досконально, с подробностями, прибрала дом, проветрила квартиру. Но и через три дня лекарственный запах пробивался через мастику и полироль.

Сели за длинный овальный стол, отреставрированный отцом, и Ольга, положив вымытые руки на столешницу, покрытую грубоватой льняной скатертью, ощутила тоску по отцу. Вспомнила его рыхлый нос, набегающую верхнюю губу, мальчишескую серьезность, с которой он строгал свои деревяшки в мастерской на даче, запах политуры и стружек, идущий от отца. Это под конец жизни, на пенсии. Из-за нее, дуры, из-за университетской той истории... Как бесновалась тогда и орала мать и как строго, опустив глаза, молчал отец. Молчал, молчал – и подал в отставку.

– Батя, батя, – прошептала Оля.

Рядом сидевшая подруга Томочка услышала. Чуткая душа, все по-своему переиначила. Шепнула ей:

– Да, Олечка, и я думаю – встретились теперь твои родители.

Арий Львович, оглядев со знанием дела богатую мебель, руками покойного Афанасия Михайловича отреставрированную, сделал переоценку статуса. Ампириная мебель была в моде в богатых домах, и он не ожидал встретить в доме этой простовато-партийной покойницы такие редкости. Занятная, занятная история. Помедлив, не найдется ли кто более значительный, встал:

– Помянем по старому обычаю дорогую Антонину Наумовну. Не чокаемся, не чокаемся!

Все выпили. Костя, отглотнув каплю, поставил рюмку. Водка ему не нравилась. Он бы вина выпил, но ему не предложили.

Оля же выпила и мгновенно захмелела. Теплота поднялась в голову, опустилась в ноги, она как-то обмякла. Сидела, подперев осунувшуюся щеку рукой в заметных веснушках, порозовела, как в юности, даже помолодела. Волосы, после давнишней химиотерапии вылезшие дотла, росли у нее теперь новые, молодые, даже завивались надо лбом, и прежний ее цвет – праздничный, пасхальный, луковой шелухи – снова появился после того ужасного лечения.

Подруга Тамара смотрела на нее с изумлением, отметила ее миловидность, порадовалась: восстала, восстала Ольга после такой тяжелой болезни. И еще подумала: Антонина Наумовна на себя Олину болезнь взяла. Такие были новые Тамарины мысли, складно вытекавшие из ее православного состояния: теперь все движения жизни, повороты судьбы виделись ей не случайными, а наполненными смыслом, непременно мудрыми и целесообразными.

Олины мысли шли в другом направлении, о другом она думала: если б она с Ильей тогда уехала, кто б мать похоронил. А вот теперь, когда родители умерли, Костя женился, как раз бы и уехать к Илье. Сколько же теперь надо ждать, чтобы оказаться с Ильей вместе...

Сестра Антонины Наумовны Валентина сидела с краешку, робко. Вид у нее был не то чтобы совсем деревенский, но простоватый. Она жила в Протвине, за сто километров от Москвы, в научном городке, и была там вовсе не уборщицей, как по ее виду можно бы сказать, а вполне уважаемым кандидатом биологических наук. Но Оля этого не знала. Помнила, что тетушку мать не жаловала и даже не без насмешки говорила что-то такое про овец, с которыми та всю жизнь провозилась. И это была правда. Валентина кончила какой-то ветеринарный институт. Но в устах старшей сестры, большой начальницы, звучало это всегда презрительно.

Сидела Валентина по правую руку от Оли, по сторонам не смотрела, все только в тарелку. Потом вдруг повернулась к племяннице и сказала:

– Я пойду скоро, Олечка. Ночую я сегодня здесь, в городе, у подруги. Но я тут кое-что тебе привезла. Это наше семейное...

Оля удивилась, но встала из-за стола и повела тетушку в материнский кабинет. Там мать всю жизнь спала кратким сном и работала – писала свои очерки о героических ткачихах, чесальщицах и доярках, доклады и выступления, приказы и выговоры. Однажды написала роман и чуть не получила Сталинскую премию. Старинная пишущая машинка в дерматиновом чехле, которую сама писательница любовно называла «страстотерпицей», стояла, как маленький гроб, посреди письменного стола. «Ундервуд». Рядом чугунный письменный прибор с мускулистым рабочим, бюст Толстого и фотография себя самой – лучшая за всю жизнь: девушка в кожанке, со сжатым ртом.

В свой кабинет Антонина Наумовна никаких мужниных старинных мебели не допускала. Все здесь было сталинское, даже с металлическими бирками в интимных складках тяжелых предметов, полученных когда-то через распределитель. На кожаном государственном диване и умерла писательница.

Ольга сразу же, как тело увезли, сняла матрас. Костя вынес его на помойку. Выкинула пузырьки и флакончики от лекарств, кроме запаха ничего не осталось.

Валентина Наумовна вошла в сестрину комнату и удивилась про себя ее нежилому виду. Три казенных портрета на стене – большой Ленин с бревном и два маленьких – Сталин и Дзержинский. Села на край кожаного дивана и ровненько на колени уложила портфельчик.

«У мамы точно такой же портфельчик был», – отметила про себя Ольга. Тетка была ростом еще меньше матери, тоже сухая, тоже длинноногая. И одета была схожим образом: поношенная вязаная кофта, серенькая блузка внутри, юбка в кошачьих волосах.

«Надо ей мамину одежду отдать, шуба там, плащ», – решила Ольга.

– Олечка, не знаю уж, была бы твоя мама довольна... скорее нет. Но я все же решила отдать тебе сохранившиеся у меня семейные фотографии.

«Торжественное какое начало... Да, и обувь еще. Сапоги на меху, мама лет пятнадцать тому назад привезла из Югославии, не забыть...»

Валентина тем временем колупнула замочек и вынула из конверта тонкую пачечку, завернутую в газету.

– Это, если так можно выразиться, наш семейный архив, все, что сохранилось. – Она осторожно разворачивала газетные слои один за другим, пока не появились фотографии. Тогда она встала, разложила на столе одну картонку из старорежимного фотоателье и две блеклые любительские.

– На обороте я карандашом тоненько написала, кто да когда... – Она бережно поглаживала наклеенную на картонку фотографию, а те, мутные, любительские, все норовили скататься трубочкой, и она их распрямляла. – Если я вам с Костей не передам, наших предков и помянуть некому...

«Какие такие предки, какие потомки? Мать говорила, что рано осталась сиротой, родни не помнила, а кого помнила, погибли либо поумирали...»

– Это наш батюшка, Наум Игнатьевич, с матушкой. Твои, стало быть, дед и бабка. – Кривым старческим пальцем ткнула в край фотографии. В кресле сидел священник с гривой по плечам и бородой чуть не до пояса и черными, как наклеенными, бровями, а позади его кресла стояла миловидная женщина в темном, по-простонародному повязанном платке и в господском платье, шелковом, расшитом по вороту чем-то вроде стекляруса. Рядом с отцом – трое отроков, возле матери – двое малышей. Двухлетний сидит у нее на коленях, второго, постарше, держит за руку черномазая девочка со строгим и хозяйственным выражением лица.

– Матушка наша – Татьяна Анисимовна, урожденная Камышина, тоже из духовных. Отец ее инспектор Нижегородской семинарии. Все, все у нас были духовного звания – деды, прадеды, дядья.

– Мама никогда не говорила... – прошептала Ольга. Голос пропал.

– Тому была причина – все сплошь священники, – кивнула тетка и продолжала тыкать пальчиком в потертую сепиевую картинку. – Отец Наум Игнатьевич похож на свою мать Прасковью – черный, черноглазый, она была гречанка, тоже из поповской породы. После Прасковьи порода испортилась, чернота пошла.

– А мама ничего не говорила...

– Да, да, конечно, не говорила. Боялась. Расскажу тебе все, что знаю. Антонина, когда маленькая была, много по дому помогала. Хорошая была девочка. Она тогда была одна сестра на пятерых братьев. Трое старших было, а двое младших, она их нянчила. Андрей и Пантелеймон, оба в мать, светленькие. И умерли в один год, уже в ссылке. Она на десять лет меня старше была, я пятнадцатого года, на этой фотографии меня еще нет. Но я помню, она меня кормила, одевала. Очень хорошая была, – настойчиво повторила тетка.

Валентина поглаживала парадную фотографию. Любительские сворачивались в трубочку.

– В двадцатом году нашего отца, Наума Игнатьевича, священника Космодемьянской церкви, отправили в ссылку. – Она уперлась пальцем в девочку со строгим лицом, положившую руку на плечо мальчонки. – Я родителей мало помню. Больше со слов тети Кати. Отца видела последний раз, когда он вернулся из ссылки в двадцать пятом. Мама к этому времени уже умерла. Тетя Катя меня к нему возила.

– Какая тетя Катя? – Ольга посмотрела на тетку, и открыла вдруг, что никакая она не простоватая и нисколько не убогая. Она тихая, спокойная, и выговор у нее очень правильный, даже правильнее правильного.

– Тетя Катя, мамина сестра, Екатерина Анисимовна Камышина, приняла меня, младшую, когда наших родителей сослали. Петр и Серафим уже большие ребята были, сразу отреклись, в ссылку не поехали. С отцом пошел Николай – он к тому времени уже закончил семинарию и служил диаконом в небольшом селе на Волге. На фотографии он в подряснике, он в семинарии тогда учился. Его рукоположили, он был священником, в лагерях пропал, не знаю, в каком году, ничего про него не знаю. С ним связь Катя потеряла. С родителями в ссылку пошли два младших, Андрей и Пантелеймон, оба и умерли.

– А мама? – Ольга уже догадывалась, что услышит.

– Антонина ушла вслед за братьями. В пятнадцать лет ушла. Петр и Серафим уехали в Астрахань еще прежде нее, все они там от отца-священника отреклись. Написали в газету, что Ленин им отец, а партия – мать.

Из деревянной рамки, смотрела на них девочка в кожанке, подтверждала эти слова.

– А с дедом что дальше случилось?

– Пять лет ссылки в Архангельскую область, потом вернулся в Космодемьянск. В двадцать восьмом его посадили, потом еще раз выпустили, а в тридцать четвертом – все, пропал. Не смогла тетя Катя его разыскать. Пришли мы с тетей Катей к твоей маме уже в тридцать седьмом. Стояли на коленях, просили похлопотать, хоть узнать, жив ли. Но Антонина сказала, что хлопотать ей не о чем.

В приоткрытую дверь вежливо постучали – Арий Львович заглянул проститься. В большой комнате, в застолье тихо разговаривали: Тамара с соседкой толковали о загадочной болезни, которая оставила Ольгу и перекинулась на Антонину Наумовну. Соседка Зоя расспрашивала Костю об Илье. Ольга, при всей соседской близости, вопросов о бывшем муже как не слышала.

Ольга поблагодарила похоронщика. Он почтительно кивнул головой. Уже в дверях, держа богатую меховую шапку на весу, поклонился светским образом и произнес с достоинством:

– К вашим услугам, Ольга Афанасьевна. Всегда к вашим услугам.

«Вот дурак безмозглый. Нужны его услуги!» – подумала и вернулась к Валентине.

Пока шла по коридору, готовилась услышать то, что могла предугадать. Ссылки, аресты, гонения, расстрелы.

Но ничего такого тетя Валя не сказала. Разглядела две блеклые фотографии: на одной старик в обвисшем пиджаке стоял возле плетня, на кольях которого надеты были две крынки, а лицо у него было такое, что у Ольги дух захватило. На другой он же – в черном подряснике в каком-то помещении сидел у стола, посередине которого возвышалась небольшая белая пирамида и три темных яйца на тарелке.

– Это Пасха тридцать четвертого года. Видимо, он служил Пасхальную заутреню.

Сидели и молчали. Потом Валентина завернула все в газетку, положила в коричневый конверт:

– Олечка, мне оставить некому. Ты со своим Костей все, что от нашей семьи осталось. Я про тебя ничего не знаю. Не знаю, может, ты и не хочешь эти фотографии брать. Я их всю жизнь сохраняла. Сначала тетя Катя, потом я.

– Возьму, конечно, тетя Валя. Спасибо вам. Какой же кошмар! – Оля взяла конверт из старческих рук, и тетушка сразу же заторопилась:

– Ну, мне пора, давно пора. В Теплый Стан ехать.

– Тетя Валя, старшие братья, с ними как?

– По-разному. Петр спился, Серафим в войну без вести пропал. У Петра, кажется, была семья, но ушла от него жена и дочку забрала. А про Серафима не знаю, остался ли после него кто.

– Ничего себе история. А вы приходите к нам. Я вам хотела кое-какие вещи мамины... – И запнулась, потому что увидела такое тети-Валино лицо, что про югославские сапоги говорить было невозможно. – Я позвоню, позвоню вам, – промахнувшись с поцелуем, уткнувшись в серую вязаную шапку тетушки, бормотала Оля, провожая ее в прихожей. – Мы непременно увидимся, вы мне все расскажете, что помните.

– Да, да, конечно, деточка. Только на маму не сердись. Страшные времена были. Очень страшные. Все ведь были сироты. Теперь-то мы как хорошо живем...

Костя стоял за материнской спиной и не понимал, что это она вдруг так ослабла, расплакалась, а ведь так хорошо весь этот тяжелый день держалась. Ольга вернулась в материнскую комнату – снова разложила на столе эти вынырнувшие из бездны небытия фотографии.

Ушла мать, давно уже превратившаяся в сухую оболочку человека, в ворох гигиенических привычек и автоматических слов. И на ее место вошел вдруг незнакомый человек с прекрасным лицом, переживший предательство подростков, смерть жены и малолетних, тюрьму и еще бог знает что. Мутная фотография с пасхальным столом отворила слезы. Ольга, распустив поток, сидела в материнском кабинете и претерпевала какую-то неведомую операцию. Ее, как черенок, полоснув ножом, привили к семейному дереву, которое было дед Наум и все те многочисленные бородатые, с косицами, деревенские и сельские, ученые и не особенно ученые попы, их матушки и детушки, хорошие и не особенно. Она не могла найти слова, чтобы объяснить себе самой происходящее потрясение. И не было Ильи, который сказал бы те точные слова, которые расставляли все на правильные места...

Троллейбус «Б» вывернулся из-за поворота, звякнув штангами. Арий Львович прибавил шаг: в вечернее время троллейбусы ходили редко. Он уже забыл о сегодняшней покойнице. При смерти был один из секретарей Союза писателей. Арий заранее планировал большие парадные похороны, хорошо бы на той неделе, чтобы в эту пятницу уехать на дачу. Он спешил домой к молодой жене. Десять лет тому назад, будучи свежим вдовцом, он познакомился на очередных похоромах с чудесной ласковой Кларочкой и влюбился, и женился, и родил новую дочку, Эммочку, и жизнь его так обновилась, так осчастливилась, что и помыслить невозможно было, что и ему придется помирать. А со смертью отношения такие давние, такие близкие, служит ей не за страх, а за совесть. Неужто скидочки не заслужил?

«Может, доживу до девяноста пяти, как дед. А почему нет? От старшей дочери Веры, от первого брака, уже внуки взрослые, до правнуков рукой подать. А если до девяноста пяти дотянуть, то и от Эммочки внуков дождусь. А почему нет? Здоровье, тьфу-тьфу, хорошее, работа наилучшая – и достаток дает, и уважение. И ведь интересная работа, для души. Да, хорошо бы, чтобы секретарь этот – подлый, между прочим, человек – помер не сегодня, и не завтра, и не в понедельник, дотянул бы до вторника, тогда бы все можно было к той пятнице хорошо, без спешки организовать. И поминки в Дубовом зале на сто кувертов».

Свадьба короля Артура

С детства Ольга чувствовала успокоительную предсказуемость людей. Заранее было известно, что скажет подружка, учительница, мама. Особенно мама. С детства Антонина Наумовна воспитывала в дочери редкую добродетель, умение пожертвовать своими интересами во имя общества. Чувство социальной справедливости было у девочки, видимо, врожденное. Когда кто-либо из детей выносил во двор кусок хлеба с маслом, посыпанный сахарным песком, Ольге и только Ольге поручалась дележка на заданное количество ртов, а в случае особой кривизны ломтя она одна из всего двора умела прибавлять довесочки для соблюдения окончательного равенства. По возрасту своему она не знала о хлебных пайка́х – родилась в конце войны – и про лагерные пайки тоже ничего не знала. Но спинной мозг знал.

Антонина Наумовна любовалась своим поздним ребенком – удачная! Все лучшее взяла от родителей: от матери – принципиальность, твердость, от отца – добродушие и светлую милость. Греческого наследства с материнской стороны – черноволосости, излишней носатости – ни капли. И ни капли отцовской рыхлости, которая смолоду в Афанасии Михайловиче замечалась.

В годы Олиного детства Антонина Наумовна возглавляла журнал для молодежи и воплощала свои научно-педагогические построения в практике личной жизни, в дочери, а опыт, возникающий из отношений с дочкой, применяла в своих статьях. Так, наблюдая за игрой деток в песочной куче – они поливали песок водой и лепили корявый замок, – создала даже художественный образ: песок – это отдельные рассыпающиеся личности, а вода – идеология, которая замешивает тесто, и из этого строительного материала создается великое здание. Эту метафору она использовала и в редакционной статье, и в докладах. Ее выступления всегда отличались образностью, особенно когда доводилось выступать в партийной среде. Она была ифлийка, в тех кругах редкая птица. Писателей этим не удивишь; каждый умел словцо завернуть, но с ними у нее были другие козыри. Зато в партийной среде ее уважали как мастера слова.

И все-таки никогда не было Антонине Наумовне так уютно в коллективе, как ее дочери. Руку на сердце положав, Антонина Наумовна признавала: завидуют! Как ни печально это осознавать – есть еще мелкие люди, которые завидуют ее положению, авторитету, уважению со стороны вышестоящего начальства.

А вот маленькой девочке Оле всегда было хорошо в коллективе. Детский коллектив здоровее, решила совершенно ошибочно Антонина Наумовна. Хотя дело было в другом: Олечка родилась вожаком и пользовалась своими дарованиями, о том совершенно не задумываясь. Ей подчинялись без всякого с ее стороны насилия, девочки и мальчики готовы были за ней хоть на край света... Миловидная, заряженная веселой энергией, доброжелательная, она всегда таскала за собой подружек. Ей нравилось литься в общем потоке, его все-таки возглавляя, нравилось чувство общности и единения, достигающее апофеоза в майской демонстрации трудящихся.

Однажды мать взяла дочку на гостевую трибуну Мавзолея, и Ольга от первой до последней минуты всасывала в себя зрелище, а позже сказала матери:

– Да, здорово! Но когда сама со всеми вместе идешь, все же лучше!

О, сладостное чувство общности и единения! Равенство и взаимозаменяемость песчинок, их способность сливаться в единый и мощный поток, все сметающий на своем пути. И счастье быть его мелкой частицей. Любимый Маяковский! Любимый Владимир Владимирович!

Но появился Илья и открыл глаза. Про все, о чем знала Оля, он знал по-другому. Ранний Маяковский – лучшая часть коллекции Ильи: на газетной бумаге, желтый и шелушащийся, ломкий, ветхий, огненный Маяковский... Сколько же Илья рассказал сверх того, что печатали в школьных учебниках! Трибун революции – с его страхом заразы, детским фанфаронством,

пожизненной любовью к женщине, причастной тайной полиции, – он оказался куда как сложнее и интересней, чем представлялся Оле и нескольким миллионам ее сверстников. Но главное, конечно, сам Илья: рядом с ним все делалось другим, открывало новые качества, даже погода. А как он фотографировал! Вот, например, дождь... деревья через окно, искривленные течением капли по стеклу, меховой воротник с застрявшими в нем бусинами воды... лужа, в середине которой плывет газета с утопающим словом «коммунистическая».

Прежде Ольге и в голову не приходило, какие интересные люди живут на белом свете и какие разные, со своими философиями и религиями. За всю свою жизнь Оля встретила одного особенного, может, даже гениального человека – того самого университетского преподавателя, руководителя ее диплома, подпольного писателя, публиковавшего свои книги за границей, за которого ее выгнали из университета. А вокруг Ильи все были вот такие – особенные. Не каждый, конечно, писатель. Но каждый – личность выдающаяся, со странными интересами, редкостными знаниями в неммыслимых, в нормальной жизни совершенно лишних областях: пожилая дама с кимберлитовыми трубками, хромой специалист по несуществующему театру, художник из пригорода, рисующий помойки и заборы, исследователь неопознанных летающих объектов, составитель гороскопов и переводчик с тибетского языка... И все они, кроме дамы с алмазами, сторожа, лифтеры, грузчики, фиктивные литературные секретари, приживальщики при работающих женах или матерях, творческие, рук не покладающие бездельники, тунеядцы, изгои, опасные и притягательные. Не вполне понятно было: это они отказываются работать на государство или государство не желает иметь с ними дела...

Первым, к кому потащил Ольгу Илья, был Артур Королев по прозвищу Король Артур, отставной моряк. Жил он в Тарасовке, в большом покосившемся доме с печкой, с колодцем у калитки и с дощатой уборной в дальнем углу участка. Калитка была заперта на ржавый калач, и Илья довольно долго стучал по железному листу, подпиравшему изнутри калитку. Наконец на крыльце появился огромный лысый человек в офицерском черном кителе. Не торопясь, морской походочкой враскачку подошел к калитке, пихнул калитку пальцем, и она легко открылась. Он сунул Илье кисть-лопату, каждый палец как большая морковина и цвета желтовато-розового, как будто только что после стирки. Ольга таких необычных людей отродясь не видела. Пригляделась – в лице странность: нет бровей. Сам румян, цвет лица крестьянский, даже лысина загорелая. Голос басовый, трубный, но смеется тоненько, как будто из другого горла смех. На Ольгу едва глянул, совсем без внимания. Даже имени своего не назвал. Оля растерялась – до чего же невоспитан! А еще бывший морской офицер!

Вошли в дом – хозяин шел первым. Ноги в резиновых вьетнамках – по талому снегу. Оригинал. Дом – под стать: пыльно, захлавлено. Встали в дверях и услышали шуршание: огня в печи, мышей в стенах, старых книг, которые повсюду громоздились горами, тюками, связками. Книги на полу, на столе, на верстаке, который здесь же в комнате стоял.

Илья снял со спины большой туристический рюкзак, вытащил бутылку водки. Хозяин сел в кресло с подвязанным тряпкой подлокотником, посмотрел на бутылку с неодобрительным интересом. Илья перехватил взгляд:

– Король, можно и не пить. Необязательно.

Король хмыкнул:

– А если не пить, что с ней делать? Вы, красавица, на стол накрывайте, там в сенях вилки-тарелки... все, что надо. Я, признаться, хозяйством не люблю заниматься.

Ольга просто захлебнулась от возмущения: нахал! Каков нахал! Красавица! Еще бы дорожкой назвал!

Стрельнула в Илью разъяренно, а он не то смеется, не то подмигивает...

Защиты не найдя, Оля улыбнулась, дрогнув знаменитыми ямочками, глядя в лицо Короля прямо и просто:

– Признаться, я тоже не люблю. Да еще в чужом доме.

– Понятно, – кивнул хозяин и вышел в сени. Очень естественно.

– Молодец, Олька. Ты молодец! – шепнул Илья, и Оля от этого одобрения почувствовала себя счастливой, гордой и правильной.

Король Артур принес черную кастрюлю, три глубокие тарелки вместо крышки, а сверху, пирамидкой – большой соленый огурец, нарезанный крупно хлеб и три стопочки. Вилки торчали из кармана кителя. Двигался он с точностью то ли спортсмена, то ли танцора – маленькие предметы льнули к его рукам как намагниченные. Ничего не падало, все вставало ровно, точно. Он пошарил в кармане, вынул из глубины луковицу и большой складной нож. Отсек донце, разрезал, не счищая кожицы, на четыре части, и они раскрылись посередине деревянной доски, как лепестки белой водяной лилии. Поставил перед каждым по тарелке – в кастрюле лежала не успевшая остыть картошка в мундирах. Протянул, не глядя, длинную руку назад и поставил на стол маленькую серебряную солонку в виде лебедя. Все было так правильно и хорошо. Счастье в Олиной душе поднималось как на дрожжах, она вся всходила пузырчатым тестом.

– Ну, открывай, – ласково сказал Артур Илье, тот сорвал жестяную крышечку с зеленоватой бутылки.

«Ах, вот оно почему – зелено вино, – догадалась Ольга. – Штофы были зеленые!»

Ольга слегка прикрыла рюмку рукой:

– Нет, не надо. Не хочу водки.

– Коньяка? – спросил хозяин.

– Нет, спасибо. Среди бела дня – не хочу.

Он кивнул. Располосовал огурец тонко, взял картофелину, очистил, порезал. Выпили они с Ильей. Ел он руками, солил картошку щепотью, но красиво, даже аристократично у него получалось.

– Как Лиса? – спросил Илья. Ольга уже знала, еще по дороге Илья рассказал, что у Артура жена-красавица, недавно от него ушла.

– Куда денется? Приезжала на днях.

– Обрато просится? – полюбопытствовал Илья.

– Нет, Илья, вернуться не вернется. А вот уйти не может. Развод оформила, замуж собирается, а уйти – слаба. Посмотрим. Пятнадцать лет прожили. Ей за границу хочется. Говорит, нашла себе финика.

– Да ты что? – удивился Илья. – Вроде какой-то из Ирака был?

– Был. Богач. Отставку дала. Говорит, европейская женщина на Востоке жить не может. А финик из Лапландии. Лиса к холоду привычна, она же с Дальнего Востока. Вообще-то она в Италию нацелилась, но итальянца ей не подвернулось.

У Оли от этого разговора глаза на лоб полезли. Что это за девица такая – среди иностранцев выбирает? Как проститутка, что ли? Надо будет потом Илью порасспросить.

Потом пили чай – заваривал его Артур медленно, развел целый театр вокруг чайника. Чайничек был, надо сказать, выдающийся, металлический, эмалевый, в драконах и в языках голубого пламени.

– Китайский, – Артур ласково погладил его по круглому боку. Ласково и посмотрел, как мужик на девушку. – В Сингапуре купил. Красавец!

Ну да, говорил же Илья, что Артур в торговом флоте служил, по всем океанам плавал. Ольгин глаз уже привыкал к этой необычной фигуре, он нравился ей все больше и больше. Хотя при ближайшем рассмотрении оказалось, что безволосость его странная – как будто волосы никогда и не росли ни на голове, ни на детской коже лица. И еще: руки тряслись мелко-мелко, не сразу и заметно.

Потом Король унес тарелки тем же порядком, водрузив на кастрюлю, вытер стол, и тогда Илья выложил на него большую стопу тончайшей бумаги с машинописью. И несколько растрепанных древних книжек. Зашуршала бумага.

– Матерьяла подходящего нет, могу только в ситец, – сказал Артур.

– Главное, чтоб не в цветочек, – попросил Илья.

– В синий переплету, – кивнул Король.

Потом, сделав еще более значительное лицо, чем оно было, он вынес из соседней комнаты, держа на весу, как младенца, старинную книгу в темном кожаном переплете и предъявил ее Илье.

– С ума сойти! Восемнадцатый век. Тысяча семьсот девяносто девятый год! «Полный винокур и дистиллятор».

– Колоссально! – выдохнул Илья и радостно засмеялся. – Как гнать самогон?

– Не в этом дело. Да ты на титул посмотри! Тогда и ахай! – И Король Артур поднял крышку переплета.

Илья присвистнул:

– Ни фиги себе! Макулатурная?

– Ага. Владельческая надпись – Бердяев. Правда, все же надо проверить.

– Специалист нужен. Надо Сашке Горелику показать, – посоветовал Илья.

– Нет, я из дома не выпущу. Ты приволоки Сашку сюда. Я ему бутылку поставлю, – предложил Артур.

– Да он сам тебе поставит. Может, еще и книгу купит.

– И не подумаю продавать!

Оля тянула шею поверх плеча Ильи – лиловыми чернилами было выведено: «Николай Бердяев».

Имя как будто знакомое, в компаниях его называли, подумала Ольга. Но спрашивать не стала, чтобы не терять заявленного высокого класса. Впрочем, и так было ясно, что Илья, хоть никакого формального образования не имел, знал историю и литературу гораздо лучше, чем она, почти закончившая университет. Да и этот отставной моряк, судя по книгам, которыми забит его дом, человек образованный. Что он тут же и подтвердил, вытащив из-под дивана маленького, с ладонь, английского Диккенса:

– Вот автор чудесный, Илья. Что за чушь мы в детстве читали! – Тут он махнул рукой, засмеялся. – Впрочем, я в детстве почти ничего не читал, во всем городе Изюме, я думаю, ни одной английской книжки не было. Казачьи места. У нас мальчишек на лошадь сажали прежде, чем они ходить начинали. Шашкой машут, а грамоты не знают.

Оля, хотя и приказала себе накрепко вопросов никаких не задавать, не удержалась:

– Так вы и шашкой можете?

– Нет, деточка моя, я всю эту казачью вольницу с детства ненавидел, в тринадцать лет из дому сбежал, в Нахимовское училище поступил. Романтиком был. То есть идиотом. Что такое настоящая армия, не понимал.

«Деточка» была, конечно, обидна, но тон Артуровой речи – вполне дружеский. И посмотрел он в глаза, а не мимо.

Вскоре стали собираться: Илья положил в опустевший рюкзак завернутую в газеты и аккуратно увязанную пачку книг, отдал Королю Артуру небольшую стопку денег, и они заторопились к станции – время шло к десяти, в такую пору электрички ходили редко. По дороге Оля расспрашивала Илью, он коротко отвечал. Да, бывший морской офицер, переживший какой-то взрыв. Списали через психушку с флота, пенсионер, работает подсобником в конторе по приемке макулатуры.

Сначала в книгах мало что понимал, но за годы насобачился. Чутье оказалось. Впрочем, особого чутья и не нужно – люди тащут книги мешками. Он там среди старых газет и изрисованных учебников чего только не выуживал – то том Карамзина прижизненного издания, то Хлебникова. Штайнера нашел. А его и в букинистическом не найдешь, издание начала века.

Не знаешь? Это все не мое, но знать надо. А в последнее время Артур в йогу по уши влез. В макулатуре Вивекананду нашел. Практикует, медитирует.

– Я тоже хочу... Вивекананду. – Оле всего хотелось: всех книг, всех разговоров, и музыки, и театра-кино, и Бердяева, и индийского Вивекананду, и немедленно прочитать Диккенса на английском, и, как в детстве, когда хотелось поскорее вступить в пионеры и в комсомольцы, чтобы быть в передовом отряде, теперь хотелось, чтобы ее приняли в неопределенную компанию Ильи, Короля Артура и тех, кого она еще не знала, но о ком уже слышала. Это они стояли во дворе суда, когда судили ее доцента, и быть среди них было гораздо интереснее, чем засесть в комитете комсомола филологического факультета.

Илья принес Ольге и Вивекананду, и Бердяева, и совершенно поразившего ее Оруэлла. Времени свободного было теперь у Ольги немерено – из университета отчислили. Целыми днями валялась она у себя в комнате, пока Фаина кормила, гуляла, укладывала на дневной сон Костю, а ближе к вечеру, к возвращению матери с работы, Оля уходила на свидание. У них было несколько излюбленных мест встречи: возле первопечатника Ивана Федорова, у стены Китай-города, в букинистическом магазине, в старой аптеке на площади Пушкина. К лету ближе они стали встречаться в Аптекарском огороде, маленьком ботаническом саду, основанном еще Петром Первым.

Прошло полгода, прежде чем Илья снова пригласил Олю в Тарасовку, на этот раз на свадьбу. Ольга удивилась: да кто же за него, странного такого, пойдет?

Тут настало время удивляться Илье:

– Оля, ты что? Пока он на Лисе не женился, очередь стояла из баб – мечтали его портки стирать. Из Москвы во Владивосток знаменитая актриса два раза в месяц к нему летала, чтобы трахнуть. Прилетит, а он ей: извини, увольнительной нет. И к буфетчице. А потом, когда Лиса появилась, – всё. Стал ей верным мужем. На баб не смотрел. Тогда уже Лиса заблядовала, – Илья засмеялся.

Оля всегда восхищалась, как свободно и просто говорил он о таких вещах, которым прежде она и названия подобрать не могла. Оля даже слово «говно» сказать вслух не умела, в горле застревало, а в устах Ильи даже непристойные ругательства звучали естественно и смешно...

– На ком же он теперь женится? – любопытствовала Оля.

– История занятная, как и полагается. Он женится на старшей сестре Лисы. Это ее интрига. Сама увидишь.

Свадьба Короля припала на середину июня. Лето было еще свежее, первый солнечный день после месячных дождей. Накануне мать Ильи Мария Федоровна уехала к сестре в Киржач. Ольга с вечера приехала к Илье, и у них случилась впервые длинная, полностью принадлежащая им ночь, без спешки, помех и неловкости, которую испытывала Ольга в чужих постелях, куда время от времени затаскивал ее Илья. Утром оба они были притихшие, опустошенные, и эта восхитительная пустота сообщала телам и душам чувство, близкое к невесомости. Оба они переживали уникальность происшедшего: через это предельное, на границе возможностей, телесное самовыражение, через сексуальный подвиг совершился переход общеположенной границы – как будто произошло откровение там, где его не ожидаешь. За высшим наслаждением секса открылось другое, словами не выразимое блаженство растворения собственного «я» и немислимой, неизведанной свободы парения и полета.

– Так хорошо, что даже страшно, – шепнула Оля, когда они уже сидели в электричке.

– Нет, не страшно. Показали седьмое небо. Такое чувство, что надо какой-то благодарственный поступок совершить.

– Какой? – удивилась Ольга. – Какой может быть поступок?

– Ну, не знаю. Может, пожениться? Буду тогда е...ть тебя по-честному. – И он захохотал, как будто сказал бог весть какую остроумную шутку.

Ольга почувствовала, что нецензурное слово ошпарило ее, но тело ее ответило почему-то немедленным согласием. Она покраснела скулами – «я совсем сошла с ума, нельзя же так» – и сказала неловко:

– Нет. Я думаю, ребенка надо рожать после всего этого.

Илья перестал смеяться. У него был ужасный опыт отцовства, и повторять его он не хотел.

– Нет, это уж слишком. Ни за что и никогда. Запомни.

Что-то рухнуло и обвалилось: такие американские горки! Что это? Жестокость? Тупость? Как он мог это сказать? Но он не был ни жестоким, ни тупым: сразу же понял, что обидел, взял за руку повыше локтя, сжал сильно:

– Ты не понимаешь. От меня родятся уроды. Я сам урод. Нельзя от меня рожать.

Ольга вцепилась в его руку – обида мгновенно превратилась в острейшее сочувствие, он и прежде намекал ей, что ребенок его не вполне здоров. Теперь она поняла, что там не просто так, детская проходящая болезнь, а неисправимая катастрофа. Они замолчали и уставились в окно. За окном показывали такую свежую и промытую долгими дождями листовую зелень, что можно было и помолчать. После этого признания их близость стала еще большей, как будто это было возможно.

Столы были накрыты прямо на дорожке к дому. Участок так зарос лопухами, малиником, крапивой, что другого места не нашлось. Гостей толпилось человек сорок, и еще не все приехали. На задах участка догорали дрова в самодельном мангале, тянуло дымом, пахло сырой травой и жасмином. Двое ребят туристически-песенного вида суетились у мангала.

За стол пока не садились, хотя миски и тазы с салатами занимали всю середину стола. Гости, найдя подходящие точки, кое-где уже выпивали: в беседке, давно собиравшейся развалиться, возле бочки с дождевой водой, на бревнышке за уборной. Из дому шли громкие начальственные выкрики – руководила всем Лиса. И тут она вышла на крыльцо: красавица, секс-бомба, звезда – от тонких кривых ног на высоченных шпильках до взбитого на макушке фонтана, в больших немного затемненных очках, с улыбкой, открывающей острые клычки по бокам. Вурдалак? Ведьма?

– Панночка! – шепнула Оля Илье в ухо. – Вот прямо сразу – на экран. Панночку играть.

– Пожалуй, – легко согласился Илья.

Тут Оля увидела Короля. Он развалился в шезлонге – не то спал, не то медитировал: глаза закрыты, большой гладкий подбородок устремлен в небо.

– Король! Пора за стол! – крикнула Лиса, и Король открыл один глаз. – Ну что разлегся? Без тебя не начинаем!

Началось шевеление в зарослях – гости, уже немного поддавшие, выползли к столу, устраивались на скамьях. Илья перекинул длинную ногу через скамью, сел едва ли не первым. Ольга – рядом. Она кое-кого уже знала, но не всех.

Но какие же это были лица! Разного возраста – молодые и средние, двое совсем стариков и одна забавнейшая пожилая дама. Все сплошь – несоветские. Более того – антисоветские! Восхитительно антисоветские! И, конечно, посаженный в тюрьму доцент был из этой же компании.

– Ты скажи мне, who is who... – шепнула Оля.

– Кто именно тебя интересует?

– Ну, вот этот, рыжий?

– А, Вася Рухин, философ, богослов. Энциклопедических знаний человек. С ним поговорить очень интересно. Правда, быстро напивается, а как напьется, то сразу про жидомасонский заговор...

Философ-богослов был совершенно трезв, и, видимо, это его тяготило. Он наливал какую-то неопределенную алкогольную жидкость в стакан, а сидевшая рядом с ним женщина, то и дело поправлявшая сзади на шее тугую косу-колбасу, тихо противодействовала. Сутулый,

даже почти горбатый мужчина с кавказским резным лицом и декоративными усиками, подняв правую руку вверх и отведя левую в сторону, медленно произносил что-то вроде стиха:

– Ах, у печати мерило, но лире мила чепуха...

– А, это Дамиани – он гений. Вроде Хлебникова. Палиндромы, акrostихи, всякие формальные штуки. Да и стихи прекрасные у него есть. Он, правда, совершенный гений. Опоздал родиться. Жил бы в начале века, Хлебникова бы за пояс заткнул. Я не вижу пока что Сашу Кумана, это его враг закадычный, они всегда вдвоем ходят. Тот тоже поэт, но совсем в другом роде. Как сойдутся, непременно скандал на поэтической почве.

Илья уже не ждал Олиных вопросов, сам рассказывал:

– А эти двое из правозащитников, толстый – математик, Алик его зовут. Теоретик. Логика у него железная. По-моему, он единственный, с кем ГБ связываться боится. С ним вообще разговаривать нельзя – что хочет, то и докажет. За ним никто не поспекает, башка как скорострельный автомат. А тот, что рядом, в ковбойке, еврей еврейч, – Лазарь его зовут – он создатель машинного перевода. Лингвист и кибернетик. А рядом, в синем платье, его жена, Анна Репс, тоже поэтесса. По-моему, ничего особенного.

– Откуда у Королева такие знакомые? – спросила Ольга.

– Это определенный круг. Здесь все на книгах завязано. Король хороший переплетчик, его все знают, к нему хорошо относятся. Несколько разных компаний только через Короля и общаются. Это круг такой, – повторил Илья с нажимом, как будто это слово все объясняло.

Тут Лиса с криком «Шура! Шура! Где же пирог?» ветром пронеслась к крыльцу – открылась дверь, и в дверном проеме возникла крупнотелая краснолицая женщина в белом платье, которое было ей мало на два номера и грозило лопнуть. Она держала на вытянутых руках противень, из которого вылезал толстый деревенский пирог. Поперек розового предплечья краснел свежий ожог, из-за ее плеча высывалась молодая девица, такая же краснолицая, тоже в белом платье, с двумя полными ведрами. Ольга вытянула шею – ведра были полны резаным мясом. Шашлычные парни подскочили, выхватили ведра и исчезли.

– Оленька, а тот, худой, черноглазый, знаменитый Синько. Мы его песни в записи у Боженова слушали, – напомнил Илья.

– Да, помню, конечно. Замечательные песни.

– Он с гитарой. Так что попоет.

– Шура, ты пирог-то поставь и селедку носи. Забыла, что ли? – прикрикнула Лиса на толстуху. Острый кончик носа у Лизы шевелился, как у зверька, и Оля поняла, что прозвище ее не от имени Елизавета, а именно от этого вострого подвижного носа, живущего самостоятельной жизнью. Толстуха побежала в дом, потряхивая задом. Лиса покачала головой со снисходительной улыбкой – мол, до чего нерасторопна и бестолкова помощница. Молодая в белом подошла к Лисе, что-то тихо сказала, но та отмахнулась:

– Твое дело помогать. Холодец-то не принесла!

И молодая тоже понеслась рысцой в дом.

Король Артур вылез наконец из шезлонга и переместился во главу стола. Там стояло его кресло с подвязанной ручкой и венский стул. Девушка с выразительным восточным лицом, большими глазами, губами, ноздрями, коротко стриженная, в белых джинсах и белой майке, села рядом с Артуром на венский стул. Он обнял ее за плечи.

– А невеста какая стильная, – шепнула Ольга Илье.

– Нет, это Ленка Вавилон, она никакого к Артуру отношения не имеет. Осетинка, кончила ИВЯ, кавказские языки знает. И фарси. А невесту Королева я и сам никогда не видел.

В этот самый момент Лиса подошла к этой стильной и выдернула из-под нее стул:

– Ленка, место освободи.

Лена нисколько не смутилась:

– Лиса, ты мной-то не командуй.

– А ты место не занимай, это невестино! – крикнула скандальным голосом Лиса, и Лена развернула стул спинкой к столу, а сама села на колени к Артуру.

Похоже, он не возражал.

– Шура, начинаем! Иди к столу! – крикнула Лиса, и тут же дверь дома распахнулась и появилась Шура с полотенцем в руках.

– Иду, иду! – Она вытирала руки на ходу, потом обмахнулась полотенцем и сказала тихо, но Оля услышала: – Лизочка, ты Машу усади, а то, ты знаешь, ей не сказать, она и не сядет.

Маша, растопырив пальцы, несла на каждой руке по две селедочки.

Шура, подойдя к венскому стулу, развернула его к столу, повесила на спинку полотенце и тяжело села. Она-то и была невеста. Ленка Вавилон тем временем исчезла с Артуровых колен, как и не бывала. С прической у Шуры был беспорядок – рано утром она сгоняла в парикмахерскую, где ей уложили такого барана, что Лиса рассердилась, долго кричала и велела немедленно вымыть голову: смыть кудри и лак заодно. Шура извела целую бутылку заграничного сестрино шампуня, и теперь ее волосы были чисты, как никогда в жизни, и распадались так, что никакими шпильками-заколками невозможно было собрать. Шура ежеминутно поправляла рыжеватые простые волосы, показывая потемневшие подмышки белого платья. Лицо Шуры было распарено, как из бани. Понятное дело – от плиты.

И снова раздался пронзительный, с металлическим отзвуком голос Лисы:

– Ну, наливайте! Наливайте! Артур, ну что расселся? Вставай, жених! Кто слово скажет? Сергей Борисович, вы у нас заглавный!

Невысокий узкокостный человек лет пятидесяти с виду, в очках, с лицом недовольным и собранным отмахнулся:

– Лиза, втянула всех в комедию, сама и отдувайся!

– Кто? Кто это? – встрепенулась Оля.

– Чернопятков. На нем много чего держится. Несгибаемый человек. Он лет с четырнадцати в лагерях, первый раз посадили, он еще школьником был. Потом про него расскажу.

Лиса недовольно махнула рукой:

– Ладно! Свадьба, в конце концов, моя! Мой муж на моей сестре женится.

Она сделала легкий жест сестре – мол, отойди-ка в сторонку. Шура встала, и Лиса вспрыгнула на освободившийся стул. Бог знает что было на ней наворочено: белая шелковая блузка, поверх которой нацеплен черный кружевной лифчик, короткие шорты выглядывали из-под блузки. Она шатко стояла на стуле, потому что слегка колебались ножки стула на мягкой и неровной земле, и высокие каблуки покачивались. Взлетали на легком ветерке пряди беспорядочных волос. Артур смотрел с вниманием, приготовившись ловить ораторшу. С другой стороны, растопырив руки, топталась Шура, озабоченная шаткостью положения. То есть Шура еще не предвидела, насколько оно шатко, это положение: вдруг обнаружилось, что Лиса вдребзи пьяна!

– Ну, ну, где же? Шампанского!

Лисе услужливо всунули в руку стакан, она подняла его и вскрикнула визгливо:

– Горь-ка-а!

Артур подхватил ее, она уцепилась за шею и стала его обцеловывать: в лысину, в щеку, в нос – пока не добралась до губ и не впилась в невозмутимого Короля.

– Любимого мужа замуж выдаю! За любимую сестру! Маша! Где моя племянница? Иди сюда, Машка! Я тебе папочку нарисовала!

Маша уже стояла возле матери, и вид у нее был – не до шуток!

Скандал не скандал, но назревало что-то тревожное.

Ольга смотрела во все глаза. Не заметила, как исчез Илья. Он появился через три минуты с полными руками шампуров, в сопровождении кострового парня.

Лиса выхватила шампур и сунула его Королю:

– Шура! Ты, б..., смотри! Первый кусок – всегда ему! Машка! И ты смотри! Если что, я глаза вырву!

Но Шуре уж точно не надо было вырывать глаз – они и так были полны слез, и она готова была провалиться сквозь землю, но стояла в растерянности пень пнем. Илья раздал шампур, шашлык отвлекли внимание от главной свадебной церемонии – горького целования.

– Илюш, да она просто хулиганка! – возмутилась Ольга, когда Илья подошел к ней с шашлыком.

– Ну, конечно, хулиганка. Гениальная хулиганка! Она же Короля из тюрьмы вытащила, в психушку засунула, демобилизовала. Кому платила, кому давала. Она юристом стала. Нет, нет, в самом деле! Юрфак вечерний закончила. Ты себе не представляешь, что она вытворяет. Я ведь сначала с ней познакомился, а потом уже с Королем. Девчонка с Дальнего Востока, у нее отец охотник. Она с ним в тайгу с малолетства ходила. И пьет как мужик. Железная баба, на переднее место, правда, слаба. А Король импотент, но это она сейчас сама объявит.

И точно. Небольшой перерыв, во время которого гости дружно жевали шашлык, подходил к концу. Лиса, покончив с шашлыком, размахивала шпажкой:

– Ребята, я с вами прощаюсь. Все, уезжаю в страну фиников! Белого безмолвия. Вы мне все осто...ли! – дернув носом, хихикнула. – Но я вас обожаю. Имейте в виду, я вернусь и прослежу! От меня ничего не скроете! Это вам не КГБ! Я сама себе агент! Короля – не обижать! И Шурку не обижайте. Она телка, но человек хороший. Всех накормит, исцелит добрый доктор Айболит. Медсестра. Если укол, хоть в жопу, хоть в вену – в лучшем виде. Но – не приставать! Она этого терпеть ненавидит. Ноль гормонов. Все достались мне! Идеальная пара – два импотента!

Она, обвиснув, обхватила Короля за шею и завывла роскошным простонародным воем:

– Ой, сударик ты мой, бедняжечка! Импотентушка! Ну, чего скалитесь? Да он всех лучше! Ему бы х...шко какой стоячий, цены бы не было!

Король терпеливо и снисходительно терпел завывания бывшей жены. Он нисколько не реагировал на смертельное для каждого мужчины разоблачение и возвышался над всеми и ростом, и достоинством, и даже привилегией быть импотентом среди всех сексуально озабоченных, страдающих, влюбленных, любимых и нелюбимых мужчин и женщин.

«Точно, Король», – подумала Ольга.

Шура с Машей укрылись от позора в доме, на кухне. Шура ревела, дочь ее утешала:

– Мам, ты что, тетку не знаешь? Уедет, все нормально будет!

Маша плевала на весь этот столичный сброд, у нее был свой проект жизни – устроиться в Москве, выйти замуж с жилплощадью и закончить институт. Она была такая же целеустремленная, как тетка, но срублена топором, а не тонким инструментом...

Свадьба набирала обороты. Большую бутылку «Абсолюта» из «Березки» стрескали в несколько минут, зато самогон в трехлитровых банках, купленный у соседки, не кончился. Болгарская кислая «Гамза» в оплетенных соломкой красивых бутылках успехом не пользовалась, в отличие от портвейна, ящик которого был уже высосан. На придвинутом к раскрытому окну столе стоял магнитофон «Амрех», трофеем Короля, привезенный им из последней «загранки», и изливал во двор мощный и прекрасный бибоп, и это было взаимно неуместно и даже оскорбительно, они не шли друг к другу: американский магнитофон, диковинка, шедевр, игрушка для мальчиков, отточенная музыка чужой культуры, нелепая пьяная свадьба на фоне нежной июньской зелени, в которой было все, кроме необходимейшей составляющей, взаимной любви мужчины и женщины... Вскоре магнитофон, устав, немного пошипел и замолк.

Тогда Синько взял в руки гитару, и все подтянулись поближе к музыканту. Он провел по струнам длиннопалой рукой с отросшими и обломанными ногтями, и гитара издала какое-то женское воркование, он снова прикоснулся к струнам, и она опять ему что-то ответила.

– Они как будто разговаривают между собой, – восхитилась Ольга.

Илья положил ей руку на плечо, и она обрадовалась – они уже несколько часов сидели за столом, и ей так хотелось к Илье прикоснуться, снова испытать это «чувство тела», которое начало испаряться... Первой прикоснуться к его руке, к плечу она стеснялась. Но он коснулся ее, и это было доказательством того, что ничего не выветрилось.

– А ты его живьем не слышала?

– Нет, только в записях.

– Ну, совсем другое дело. Он настоящий артист. Песни Галича лучше самого Александра Аркадьевича поет.

Лиса в этот вечер уезжала в Хельсинки. Поездом. В половине десятого Сергей Борисович Чернопятов, который весь вечер издали приглядывал за Лисой, подошел к ней, положил руку на плечо и сказал:

– Пора, Лиса. Поехали.

Лиса как-то съежилась, пошла с Чернопятовым в дом, и вскоре они вышли с чемоданом. Сергей Борисович отвозил Лису на Ленинградский вокзал, об этом заранее было договорено. Все высыпали на улицу, к машине. Сергей Борисович был деловит и выглядел раздраженным. Он открыл багажник старого синего «москвича», но тут Лиса вдруг загудела, завертелась, опять повисла на Короле, довольно бессвязно укоряла его за старые грехи, опять вспомнила про импотенцию. Артур гладил ее по голове лысой розовой рукой и вдруг начал уговаривать остаться:

– Да брось ты этого финика, Лиса, оставайся с нами, никто тебя не гонит!

Лиса вдруг взвыла и напустилась на бывшего мужа:

– Не гонит! А Шурка? Я Шурку тебе здесь поселила! Куда я ее теперь? Она и дом продала! Девку с собой притащила! Нет уж, я тебе не жена! Хватит! Шурка тебе жена!

Далее она переключилась на Шурку:

– Ну что ты вылупилась? Что? Собирайся, проводишь! Артуру без тебя пятки почешут! Вот Ленка Вавилон! Ленка, почешешь? Шурка, ну что ты стоишь? Поехали!

Чернопятов остановил Лису:

– Слушай, я обратно не возвращаюсь. Как она добираться до Тарасовки с вокзала будет среди ночи?

Лиса вытащила из сумочки деньги, довольно толстую пачку, помахала:

– А меня моя сестричка до Питера проводит. Правда, Шурочка?

Вид у Шуры был бесконечно усталый – она ни куска за весь день не съела, выпила рюмку шампанского, у нее болела голова и сводило живот.

– Щас, только кофту возьму! – и, сгорбившись, потрехала в дом.

Сергей Борисович мрачнел. Он стоял возле машины с раскрытыми дверками, потом решительно сел, захлопнул водительскую дверь и завел мотор. Лиса протрезвела, подпихнула Шуру с кофтой к машине, та села. Потом села и Лиса. Открутила стекло и крикнула:

– А вы гуляйте, гуляйте! У нас в поселке свадьбу меньше трех дней не гуляли!

Машина тронулась, увозя жен Короля. Король добродушно помахал рукой.

Ольга тронула Илью за плечо:

– Поехали домой. Что-то мне вся эта история надоела.

Илья с трудом разыскал в доме свой рюкзак, и они покинули праздник в высшей степени по-английски – ни с кем не простившись. Они пришли как раз к электричке, ждать не пришлось. Сели, обнялись и сразу же заснули. И спали до Москвы.

Утром рано Король в своей берлоге разобрался с магнитофоном.

Спали в неожиданных местах сраженные весельем гости. Лена Вавилон проснулась, вышла во двор, увидела писающего незнакомого мужика возле уборной. Удивилась, потому что уж совсем до уборной дошел, можно было бы и войти. Потом вошла сама, поняла, почему он

мочился на улице. Поискала в малиннике удобное место, убедилась, что она не первая обшаривает местность в поисках уюта и интима.

На столе пиновала стая воробьев, а на ветках осинки сидели две синицы и прикидывали, найдется ли им место среди вульгарного простонародья. Лена Вавилон собрала грязную посуду со стола, вылила остатки воды из ведра в кастрюлю, включила баллонный газ и стала сгребать объедки в помойное ведро, выживая окурки – позаботилась о соседском поросенке.

Шура проводила Лису до Питера. Лиса купила ей билет, правда, не в спальный вагон, а в купейный. Шура была обижена, но молчала. Уложила сестру спать и пошла в свой вагон.

«Дура бесхарактерная, всю жизнь по Лизкиной команде живу, а ведь на шесть лет старше», – ругала себя Шура.

Спала Шура как убитая, но утром первая вышла на перрон. Последней из своего вагона вышла Лиса. Она, еще не вполне протрезвевшая, просила прощения, целовала Шурины шершавые руки, особо выцеловывая вчерашний шрам от ожога. Шура была поспешна и неловка. Всегда на этом месте руку жгла, когда пироги из духовки вынимала. Лиса, сама несвежая, была в свежей блузке – Шура не забыла заранее отгладить. На этот раз лифчик поверх не надевала, а повесила на шею ворох бумажных самодельных бус, скрученных из порванного на мелкие куски журнала «Америка». Пальцы с недоразвитыми ногтями ломались от груза дешевого серебра и копеечных камушков, юбка голубая, короткая. Новые колготки, которые Винар привез на свадьбу – пачку целую приволок, дюжину! – пустили широкую дорогу на икре, на видном месте.

Сестры поцеловались последний раз, и Лиса кричала Шуре вслед, давала последние указания.

Спустя полтора часа на советско-финской границе Лиса проходила таможенный досмотр. Сначала смотрели наши, вытрясли чемодан, сумочку. Лиса, еще пьяненькая после вчерашнего, вытаскивала пачки фотографий, показывала таможенникам, где папа, где мама, где старшая сестра, где охотничьи трофеи, где виды дальневосточной природы. Денег валютных у нее не было, русские – все! – отдала сестре. Документы были в порядке – новый заграничный паспорт, виза, свидетельство о браке. Пограничники над ней добродушно посмеивались – чудо в перьях! Проституточка, нашла свое финское счастье.

Один, морально мало устойчивый, даже успел положить руку на ее тощую задницу, и она захохотала. Второй, пожилой, дал отеческий совет:

– Ты, подруга, того, не балуй там с алкоголем. Финны все сплошь пьяницы, хотя сухой закон!

Поезд переполз границу – она была незаметная, что по ту, что по эту сторону редкий неказистый лес, проплешины, валуны.

Потом поезд остановился. Пришли финские пограничники, таможенники, все повторилось, только вещи из чемодана не вытряхивали. И было гораздо быстрее. Финны ушли, поезд тронулся. Лиса, покачиваясь и размахивая сумочкой на тонком ремешке, пошла в туалет. Повесила сумочку на крючок. Посмотрела на себя в зеркало, не понравилась – высунула язык. Потом присела над унитазом, вытащила из сокровенного места трубочку гораздо меньшего размера, чем то, что обычно туда помещалось, сняла с нее презерватив. Презерватив выбросила в унитаз, а трубочку, не раскатывая, положила в сумку. Потом еще раз высунула язык. Три микрофильма – переснятая книга – ехали по сложному маршруту. Но главный участок, самый опасный, был уже позади.

Винар обожал свою русскую жену. Он с самого начала ей говорил: «Я знаю, ты меня бросишь. Но я никого не любил до тебя и после тебя никого не полюблю».

Одно время он работал журналистом в России, теперь работу потерял. Это не имело значения. Послезавтра они полетят в Стокгольм, оттуда в Париж, и запрещенная рукопись, автор которой сидит в лагере, ляжет на стол издательства, которое эту книгу давно ждет.

Винар ненавидел коммунизм, любил Россию и обожал жену Елизавету. Илья любил свою работу. Микрофильм рукописи, вывезенной из зоны женой автора книги в укромнейшем месте, был сделан первоклассно. Сергей Борисович Чернопятов, руководитель этой, по меньшей мере, трехступенчатой анально-гинекологической манипуляции, знал, что все будет в порядке. Лиса никогда никого не подводила.

Маловатенькие сапоги

Проводив сестру, Шура вернулась к новому мужу и застала там остатки своей свадьбы. Большинство гостей, конечно, разъехались, но особо заядлые гуляки и на третий день еще праздновали, забыв и о хозяине, и тем более о новой хозяйке. Шура принялась за уборку. Пустила две старые Артуровы рубахи на новые тряпки, начала с кухни и тихим, но мощным трактором пятилась по дому, отскребая археологические пласты грязи. Маша ей безмолвно помогала: таскала воду из колодца, мыла окна и стирала ветхие занавески. В свою комнату Артур их не пускал, но Шура знала, что и туда она со временем доберется. Хотя теперь Артур числился в мужьях, она по-прежнему относилась к нему как к любимому зятю.

На четвертый день, когда гости, кроме одного Толика, который все никак не мог протрезветь, кое-как отбыли, Артур позвал ее в свою берлогу, открыл ящик письменного стола и, сунув в его глубину огромный палец, сказал:

– Шура, деньги отсюда бери.

Денег там лежало много, Шура застеснялась, махнула рукой:

– Ты сам давай.

Он не глядя взял в руку, сколько ухватилось, сунул ей. Она удивилась: выходит дело, богатый. А Лиса всегда говорила, что карман пустой, сама крутится как может... Не сходилось.

Неловко ей было и самой из ящика брать, и вот так, из рук...

Много лет на свои жила: муж погиб на сплаве, когда Маше всего два года было.

– Я бате хотела послать, – находчиво сказала Шура, хотя прежде о том и не думала.

– Пошли, пошли Ивану Лукьянычу. Побольше возьми. – Он опять сунул руку в ящик и вытянул еще пук бумажек. Забавно ему было, что жену поменял, а тесть все тот же остался.

– Спасибо, Артюша. Отец последнее время плохой стал.

На другой день Шура послала Машу на Центральный телеграф отправить деньги отцу в Угольное. Маша в городе, несмотря на свои неполные восемнадцать, лучше ориентировалась, чем Шура. Лиса два раза брала племянницу в Москву, последний раз Маша прожила у Лисы на съемной квартире полтора месяца и все полтора месяца гуляла с утра до ночи одна. Ей нравилось одной гулять и с городом знакомиться.

Теперь Маша заторопилась на телеграф отправить перевод и пойти на Красную площадь и, если повезет, в Мавзолей. Но нужное окно на телеграфе оказалось закрыто, висела самодельная лживая надпись: «Технический перерыв 15 минут». Маша постояла пятнадцать минут в очереди и пошла в сторону Красной площади. Ничего не поменялось за три года, только народу, показалось Маше, поприбавилось. Как-то вдруг, без предупреждения, открылась Красная площадь. Сразу подумала о подружках с Угольного, Кате и Ленке, – им хоть бы глазком глянуть на такую красоту.

«Приживемся здесь, приглашу. Вперед Ленку, потом Катю», – решила Маша.

Очередь в Мавзолей стояла предлинная, Маша свернула в ГУМ. Там тоже стояла очередь – выпирала из боковой двери. Девчонка Машиных лет вытасила из длинной белой коробки сапоги и показывала другой. Та от зависти вся побелела. И у Маши дух захватило: такого она еще не видела! Высокие, как бурки, чуть ли не до колена, они были на небольшом каблуке, из такой красивой коричневой замши, что дед – хотя он хорошо умел с кожей работать – сразу бы так не выделал.

Никогда не было у Маши никаких безумных желаний, но тут вдруг она загорелась: все бы отдала за такие сапоги. Отдать, правда, было нечего. Она в этот миг даже забыла, что завязанные в носовой платок деньги лежат в кармане, заколотом английской булавкой.

– Вы крайняя? Я за вами! – слегка пихнула ее девушка с большой прической.

Тут Маша вспомнила, что деньги-то у нее есть, сто рублей денег! И она оказалась в хвосте очереди, и уже не последняя.

Четыре часа отстояла. Два раза проходил по очереди слух – кончаются! Оказалось, что кончился тридцать седьмой, а другие размеры еще были. Когда Машина очередь подошла, то кончились все – и маленькие, и большие. Но стояли на прилавке горы коробок: безденежные женщины выписывали чеки на два часа и бежали добывать деньги. А кто не успевал выкупить сапожки в указанное время, лишался их навек, потому что другие, с наличными бумажками в потных руках, стояли нервной толпой в ожидании счастья. И Маша стояла. И достоялась. Получила тонкую картонную коробку с коричневыми, нежными существами... Она всю дорогу руку просовывала внутрь, трогала в темноте коробки ласковые бока...

«С ума, совсем с ума сошла», – сама себе говорила Маша, но ничего не могла с собой поделать. Возвращаясь электричкой на дачу в Тарасовку, в свой новый дом, Маша плакала: что она теперь скажет маме, дяде Артуру? Деньги дедовы потратила на сапоги, стыд какой. Что, что теперь говорить им?

Подошла к дому, остановилась. Решение было простое, хотя не окончательное. Она шмыгнула в калитку, проскользнула в угол двора, за уборную, и закопала коробку в большой куче прошлогодних листьев.

Шура так волновалась, что дочь в городе затерялась, что и не поругала. Только спросила, отправила ли деньги. Маша кивнула:

– Я, мам, заблудилась. Не на той станции вышла. А потом еще поехала на университет посмотреть.

Так правдивая Маша врала и сама себе удивлялась, как легко получается. На другое утро Шура с Артуром пошли в хозяйственный магазин. Шура ремонт затеяла. Артур ремонта не хотел, но по мягкости характера согласился, тем более что Шура все делала сама: и обои клеила, и потолки белила. Сестра всегда над ней посмеивалась, говорила, что Шура свои сексуальные потребности удовлетворяет с помощью хорошей половой тряпки, а она, Лиса, с помощью хорошего... в выражениях Лиса не стеснялась.

Когда Маша осталась одна, она вытащила коробку из кучи слежавшихся листьев, принесла, прижимая к груди, в дом. Вынула сапоги из коробки, обтерла ступни ладонями, стала голые ноги в сапоги пихать, но они не налезали. Нашла материнские чулки в чемодане, натянула их, затолкала ноги в сапоги. Маловатенькие оказались сапоги, жали. Но поскольку мягкие они были и нежные, как ребячья кожа, то ноги влезли.

Летом нога распарена, зимой посуше, утешила себя Маша. Но решила набить их туго бумагой, чтоб раздались немного. Туда-сюда – во всем доме одна грязная газета. Ну куда ее в небесные эти сапожки? Полезла под стол, там нашла толстенную пачку подходящей бумаги – тонкая, папиросная. Маша каждый листочек отдельно помяла, скатала и катышками каждый сапог набила до самого верху. Всю пачку до последнего листочка в сапоги затолкала. Они стояли, как будто живыми ногами наполненные. Маша прислонила сапог к щеке – ну точно детская кожа. “Dorn-dorf” – было написано на коробке. Где этот самый “Dorn-dorf”? В Германии? В Австрии? И куда теперь их прятать, не в кучу же листы за уборной...

Подумала-подумала, но в доме не решилась оставлять. Отнесла на этот раз в уборную. Там наверху, под самым потолком, была полка прибитая, вся в паутине. Никто туда не лазал. Две пустые банки из-под краски давным-давно поставили и забыли. Маша проверила, там было сухо: на крыше уборной хороший кусок толя лежал, даже немного с крыши свешивался.

«А потом, – решила Маша, – устроюсь на работу, денег заработаю и деду pošлю, и никто не узнает. Зима придет, а я в сапогах! А институт, да фиг с ним, в будущем году поступлю».

Вот такая революция произошла в один день у Маши в голове. И даже на душе легче стало – она школу окончила хорошо, почти с медалью, задумывала, что сразу в институт, и замуж, и квартиру московскую со временем, чтоб не на шее у матери и дядьки, но ради сапог она на год

все отложила. Затолкала коробку на полочку в самый угол, банки впереди выставила... Очень, очень хорошо встала там коробка. Заметить никак невозможно.

Мать с Артуром вернулись не скоро. Пришлось из Тарасовки еще в Пушкино ехать, в тамошний большой хозмаг. Там они купили обоев, и клею, и побелку на потолок, и белила на окна. Приехали на машине уже ближе к вечеру. Шура была довольна, вся сияла как медный таз, суетилась, таскала сама рулоны обоев. Артур, как всегда, добродушно-усталый, неторопливый.

«Барин», – подумала Маша неодобрительно.

Еще все не перетаскали в дом, ввалилась вдруг компания: трое в форме, двое в штатском. Спросили Королева Артура Ивановича. Старший, с белесым лицом, с ладони книжечку показывает, потом бумагу вынимает – в лицо Артуру сует.

Артур сел в свое кресло, улыбается своей безадресной улыбкой:

– Давайте, давайте, работайте, ребята. А ты, Шурочка, поешь собери. Пока люди работают, мы покушаем.

Обыск длился чуть не полсуток – с половины пятого до трех ночи. На чердак поднимались, в подпол лазали, простучали все стены. Ходили в беседку, сломали там стол, из сарая все дрова повыбрасывали, все переворошили. В уборную заглядывали, фонариком там светили. Артур и бумагу об инвалидности им показывал, и наградные бумаги.

– По закону ответите, – хмуро мычал капитан. – Лицензии нет, налоги не платите. Переплетаете черт-те что, антисоветчину всякую...

Стопы старых книг, в новых переплетах и трепаные, громоздились на верстаке.

– Да какая ж тут антисоветчина, – разводил огромными руками Артур. – Гамсун, Лесков, а это вообще поваренная книга... Вы что, ребята, антисоветчины не видели?

Маша тоже немного беспокоилась: что, если найдут сейчас в уборной на полке ее сапоги, и ее проделка откроется.

Ушли добры молодцы, когда уже восток светлел. С собой забрали и книги, и инструменты.

– Чаю завари, Шурочка, – попросил Артур.

Маша сидела и переживала: а ну как Артура теперь посадят, и придется им с мамой ехать обратно в Угольное, да и хватит ли денег на самолет, а то ведь поездом четверо суток...

Артур залез под стол – там прежде лежало множество книг, а теперь было пусто, искальщики все вывернули. Артур сел в свое перевязанное кресло, поскреб безволосый розовый подбородок:

– Мистика, ну просто мистика какая-то! Шура, у меня вот тут, под столом, экземпляр «Архипелага» лежал. Они точно за ним приходили. Настучала какая-то сволочь. Ну, и куда он делся? Здоровенная пачка здесь лежала! Я же не сумасшедший!

Ну, положим, Шура-то знала, что сумасшедший: просто так в психушку не сажают. А Маша уже спала, истомленная сапожными переживаниями, ночным обыском и счастливым чувством тайного обладания.

Высокий регистр

Дом в Потаповском переулке, сменивший сотни жильцов, переживший на своих стенах обои шелковые, ампирные, в полосочку, в розах, грубую масляную краску, зеленую и синюю, слои газет, дешевые обои пористой бумаги, обдираемые неоднократно, дом, испытавший за полтора столетия своего существования богатство и обнищание, рождения и смерти, убийства и свадьбы, уплотнение и коммунализацию, ремонты хуже пожаров и мелкие пожары и потопа, в шестидесятые годы прошлого века стал украшаться изнутри чешской мебелью и трехугольными столиками. Дом пребывал в медленном, почти геологическом движении, и только одно помещение – дворничий чулан под лестничным пролетом первого этажа – совершенно сохранило свой первоначальный облик, смысл и содержание: стены были, точно как после постройки, натурального кирпича, даже неоштукатуренные, и там по-прежнему хранились прутья метлы, ломы, ведра с песком. И еще там был бухтами уложен длиннющий шланг, главная драгоценность. Чулан был под замком. Железный огромный калач мог бы защитить и более весомые драгоценности, но дворник Рыжков, известный в округе свирепым обликом и исключительной кривоногостью, любил солидные вещи, в частности, и полупудовый замок. Внучка его Надька всякий раз, когда завлекала в чулан кавалера, с замком долго ковырялась. Надька любила это дело, то есть всяческое ковыряние. Она была девицей раннего зажигания и предосудительного поведения и даже вспомнить не могла, когда освоила это увлекательное занятие. К девятому классу она была мастером своего дела и, как любой мастер, имела свой особый почерк и маленькие пристрастия. Она не любила взрослых мужиков, которые к ней липли, и отдавала предпочтение мальчишкам. Одноклассники и дворовые, часто и годом-двумя моложе, ценили ее, не давали в обиду, и никто о ней дурного слова не говорил, потому что она была общим и ценным достоянием.

Дед Надькин вставал рано, ложился с курами, которых давно уж не держали, но организм его помнил времена, когда во дворе двухэтажного особняка была конюшня, две пристройки, и в одной держали кур. Вот тогда-то, когда дед задавал раннего храпака в куриное время, Надька и снимала с гвоздя ключ и на часик-другой удалялась в свой будуар под лестницей.

Там, в павловском кресле карельской березы с попорченной спинкой, на бухтах шланга и между метлами происходило много чего интересного – тощие мальчишки, иногда даже не доросшие до возраста обливных прыщей, пробовали свои силы и вострили оружие для будущего. Половина мальчишек ближних домов приобретала свой первый опыт общения здесь, в дворничьем чулане, и надо сказать, что никого, кроме одного-единственного, Надька не отвратила от этого простого и здорового занятия.

Илья сюда захаживал, пользовался благосклонностью Надьки в порядке общей и честной очереди.

Надька, как было сказано, имела слабость к нетронутым мальчишкам и со свойственной ей строгой прямоотой спросила между делом у Ильи: «А что Стеклов ко мне не ходит? Ты приведи его».

Саня был в самом ее вкусе – светлый, тонкий, ручки чистые, самый из всех вежливый мальчик.

Илья пригласил Саню. Он немедленно, покраснев не хуже рыжего Михи, отказался. Отказавшись, стал мучиться. До этого предложения никакого интереса не было у него к Надьке – толстая, грубоватая деваха из параллельного класса, с черными глазами из-под челки, и двух слов с ней не сказали. Но после слов Ильи ходил целую неделю взъерошенный, не шла из головы Надька, и он решил, что если Илья еще раз предложит, то он согласится пойти – уже известно было, куда и зачем.

Илья предложил, и на этот раз уговорились. Пришли в половине десятого. Надька ждала их, книжку читала – «Поднятая целина», по программе.

Илья сразу же ушел, и Надька наложила крюк в железную петлю изнутри.

– Тебе показать или так? – предложила опытная Надька, которая могла показать, а могла и без показу.

Саня молчал: ему очень хотелось увидеть живьем то, что он видел только в анатомическом атласе Урбана и Шварценбергера из маминого шкафа. Но молчал.

– Ты не бойся, это очень хорошо.

Она расстегнула пуговицы синей шерстяной кофточки, на него пахло теплым потом, и он увидел под кофточкой начало ее груди, выпирающей сверху из тесного бюстгалтера, из-под розовой комбинации с белым кружевом.

Саня попятился. Надька показала белые зубы и перламутровую полоску десны:

– Да ты не бойся, руку дай.

Саня протянул руку – как для рукопожатия. Она повернула его ладонь и сунула себе за пазуху. Грудь была как свежий батон – плотная и теплая.

– Ты прям как неродной, – проявила Надя легкое недовольство и для пробуждения родства погасила свет.

Она была опытная совратительница, но об этом не догадывалась по полнейшей своей животной невинности. Она и сама взбодрилась, погасивши свет. Окна в чулане не было, темнота была полнейшая, беспросветная.

– Ну чего ты, Санёк, как бревно, ты шевелись...

Он и был как бревно. Она взяла его холодные руки в свои, теплые и большие, и стала водить ими по своему телу, как по дереву. Хотелось убежать, но куда... В какую еще тьму из этой крошечной...

Что-то зашуршало сбоку, пискнуло. Он схватился за Надино плечо. Оказалось, что она вся раздета и вся как свежий батон – не одна только грудь.

– Не бойся, это крыса с крысятами, здесь гнездо. Я тебе потом покажу.

Крыса почему-то успокоила Саню. Он боялся, что Надька перестанет водить по себе его руками и сама за него примется. Так и было. О, как хотелось убежать, но теперь уж было поздно, совсем поздно... Она уже держала его мягкими ладонями и приговаривала:

– Маленький мой, миленький...

Замечание формально было совершенно бестактным, но по существу ободряющим, выражало полнейшую симпатию. Соблазнительница была сострадательна, держала в руках его робкое мужество крепко и ласково.

– Видишь, как хорошо, – глубоко вздохнула невидимая Надька. Она победила, вот что она чувствовала. Опять она победила. Прижала Санькину голову к своей груди – какая власть, вот так она всех их побеждает.

«Я не хочу, не хочу», – твердил Саня про себя, но это не помогло. Он был уже внутри, и деваться было некуда. Тихий удовлетворенный смешок:

– Ну вот, вода дырочку найдет.

То, что могло быть началом, было одновременно и завершением.

Сжало и выбросило. Липко, горячо. И безумно стыдно. Это и есть оно?

Надька искала рот его губы. Он вежливо их предоставил. Она облизала его рот большим языком и немного всунула язык под верхнюю губу. Всосала воздух. Раздался чмокающий звук.

– Умри, но не давай поцелуя без любви, – сказала она шепотом.

Это уж точно. Лучше умереть, чем все это...

На улице стоял нескончаемый мелкий дождь. Илья ждал его на противоположной стороне переулка. Подошел.

– Все нормально? – спросил без всякой улыбки, деловито.

– Нормально. Довольно мерзко, – ответил Саня легким голосом, так что Илья даже не догадался, насколько ему мерзко.

Они молча дошли до Санино дома, простились у подъезда.

Назавтра Саня не пришел в школу. Заболел. Всегдашняя болезнь – температура под сорок, и ничего больше. Сквозь сон мерещилось, что умирает, что у него сифилис или еще что-то похуже. Но ничего такого не было. Через три дня температура спала, он еще несколько дней провалялся в постели, бабушка варила ему морс, делала трубочки со взбитыми сливками и терла зеленые яблоки на самой мелкой терке, а он боролся с набегающими постоянно приступами отвращения к себе, к своему телу, предавшему его и ответившему на чужой зов вопреки его, Санину, желанию... Или не вопреки?

Лежал и читал «Одиссею». Дочитал до места, где Одиссеевы спутники гребли мимо острова сирен и уши их были залиты воском – а то бы попрыгали в воду и поплыли на голоса сирен, – а Одиссей, привязанный ремнями к мачте, корчился и пытался содрать с себя узы, чтобы кинуться в море и плыть навстречу нестерпимо зовущему пению. Он был единственный, кто услышал эти звуки и выжил. Каменистые берега были усыпаны ссохшимися кожами да сухими костями достигших острова путешественников – клюнули на приманку чарующего двухголосья и были высосаны сиренами-кровопийцами.

– Ньюта, как ты думаешь, эпизод с сиренами – о власти пола над мужчиной?

Анна Александровна замерла с блюдечком в руках:

– Санечка, я об этом никогда не думала. Ты совершенно прав. Но не только над мужчиной – и над женщиной тоже. Вообще – над человеком. Любовь и голод правят миром – ужасная пошлость, но, видно, так оно и есть.

– И никак нельзя увернуться от этого?

Анна Александровна засмеялась:

– Наверное, можно. Но у меня не получилось. Да я и не хотела, чтобы получилось. Всех в эту воронку рано или поздно засасывает.

Она положила прохладную жесткую руку на лоб, и прикосновение было чистейшим, врачебным:

– Температуры нет.

Саня взял ее костлявую руку в кольца и поцеловал.

«Взрослый мальчик. И такой хороший. Но слишком нежный, слишком чувствительный... – с грустью подумала Анна Александровна. – Как ему будет трудно...»

Но Санины трудности начались гораздо раньше, чем предполагала Анна Александровна. С самого раннего возраста, дошкольного еще, его мучило подозрение, что он отличается от своих сверстников, да и вообще от других людей, каким-то изъяном. В лучшем случае особенностью. Сомнения не было в том, что каким-то неявным образом это связано с музыкой. Мама и бабушка, как архангелы с мечами, ограждали его от чуждого мира, и на тридцати двух метрах их сказочно огромной комнаты они создали для него прекрасный заповедник, и сами же испугались: а как он будет жить без них, за порогом комнаты, и еще дальше – после их смерти? Поначалу хотели его обучать дома, в школу не водить, но не решались на столь радикальную меру.

Василий Иннокентиевич, вызванный на совет, чтоб было с кем поспорить, не подвел; он высказывал убийственные аргументы, и самым сильным был: если мальчик с детства не приспособится, в школе не обомнется, то будет так глаза мозолить своей социальной невинностью, что не избежит тюрьмы.

Мать с бабушкой переглянулись и послали его обминаться. Первые пять лет обучения провел он почти как в одиночной камере. Станным образом его не замечали, как будто он был прозрачным. А он прозрачность свою берег, от мальчишеской грубости отгораживался

вежливой улыбкой, и, кроме отчуждения, не возникло у него с коллективом никаких решительно отношений.

Чудо произошло в начале шестого класса – котенок, затравленный собакой и одноклассниками, положил свою жизнь в основание дружбы Сани с Ильей и Михой. И скреплена она была взаимными признаниями о самом тайном, что тогда было на душе.

Но к концу школьных лет выросли новые тайны, не исповеданные. Друзья были уже почти взрослыми и смирились с тем, что есть у каждого право на тайную часть жизни. Санина тайна не имела имени, но он боялся какого-то разоблачения: вдруг Илья и Миха узнают о том, чего он и сам в себе назвать не мог. Его будущее еще не успело прорасти, созреть и не создавало пока острых переживаний, лишь мутную тоску. Повсюду чудились умолчания, хотя эти умолчания не мешали их дружбе. Они никогда не ссорились, любые несовпадения во мнениях они научились превращать в забавный диалог, в минутный театр, законы которого были известны только им троим – «Трианону».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.